

Основан
в 1967 году
Выходит
6 раз в год
Издательство
"Наука"
Москва

Научно-популярный журнал
Института русского языка
Академии наук СССР

Русская речь

1986 ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ

В НОМЕРЕ:

К XXVII СЪЕЗДУ КПСС

- 3 Всемирное пространство русского языка
В. Г. Костомаров
- 11 Русский язык эпохи НТР: споры, мнения, оценки
С. И. Виноградов

ЯЗЫК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- 21 «Нет истины, где нет любви» (О содержательной роли противительного союза «но» у А. С. Пушкина)
А. Н. Архангельский
- 27 Игра словом у Н. С. Лескова (*Чудо* в рассказе «На краю света»)
О. Е. Майорова

ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ ТЕКСТОЛОГА

- 33 Авторские переводы А. И. Герцена
Л. Р. Ланский.
- К 160-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
- 39 Крылатая фраза М. Е. Салтыкова-Щедрина «Чего изволите?»
Л. А. Гладышева

К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

- 45 Н. А. Добролюбов о русском языке
- 52 Глагольная метафора в повести В. Астафьева «Последний поклон»
Е. З. Тарланов
- 56 «Воздушной арфы легкий звон»
Т. Р. Степанян

КУЛЬТУРА РЕЧИ

- 62 О языке — неравнодушно
Л. И. Скворцов
- 64 Поговорим о том, как мы говорим
Р. В. Зеленая
- 69 Тавтология как средство выразительности
С. А. Пугач
- 74 «Женский вопрос» в наименованиях профессий
О. Л. Дмитриева

80 СТРАНИЦА НОВЫХ СЛОВ

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЯЗЫКОВЕДЫ

- 82 Афанасий Матвеевич Селищев (1886—1942)
С. Б. Бернштейн
- 89 Всеволод Антонович Малаховский (1890—1966)
О. А. Безуглова, Е. С. Скобликова

СРЕДИ КНИГ

- 93 Т. С. Коготкова. Письма о словах
В. Н. Хозлачева
- 94 Д. Э. Розенталь. Прописная или строчная? Опыт
Словаря-справочника
Г. П. Бондарук

ИЗ ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ И ПИСЬМЕННОСТИ

- 96 Юрий Крижанич (1618—1683)
Л. Н. Пушкарев
- 100 От коврижки до марципана
Г. В. Судаков
- 108 «Уди и части телу»
Г. С. Баранкова
- 115 О Словаре-справочнике «Слова о полку Игореве»
В. Л. Виноградова

РУССКИЕ ГОВОРЫ

- 121 Из рассказов диалектолога
В. Е. Гольдин

ЯЗЫК И ОБРАЗЫ ФОЛЬКЛОРА

- 125 Во всю ивановскую: площадь или мощь?
В. М. Мокиенко

ИЗ ИСТОРИИ СЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ

- 133 Что же такое «лютый зверь» у Владимира Мономаха?
Т. А. Сумникова
- 140 Задать лататы
Ж. Ж. Варбот
- 143 Хирург, то есть... цирюльник
Л. П. Борисова
- 148 Держать в черном теле
И. Г. Добродомов
- 150 А склянки продолжают бить
О. П. Наумов

ПОЧТА «РУССКОЙ РЕЧИ»

- 153 Сели... в переполненный автобус;
- 154 Прогностический и прогнозный;
- 156 Помощник;
- 158 КРОССВОРД

*Обложка и разработка макета выполнены
художником А. М. Юликовым*

Всемирное пространство русского языка

В. Г. КОСТОМАРОВ,
действительный член АПН СССР

Великий Ломоносов начал свою «Российскую грамматику» (1755 год) удивительными по глубине и прозорливости словами: «Повелитель многих языков, язык Российский, не токмо обширностью мест, где он господствует, но купно и собственным своим пространством и довольствием велик перед всеми в Европе». Человечество наших дней — свидетель впечатляющего роста внутреннего и внешнего «пространства» русского языка до всемирных размеров.

Отличительная черта современного языкового развития — широкое, массовое изучение русского, английского и других языков планетарного распространения и употребления. С укреплением и углублением межгосударственных связей, с интернационализацией жизни на фоне растущего значения глобальных проблем, унифицирующего воздействия НТР и средств массовой информации эти «мировые языки» начинают играть важную роль не только в международной коммуникации, но и во внутренней речевой жизни отдельных стран.

Распространение русского языка в мире вступило сейчас в качественно новый этап. Освоен педагогический аспект этого исторического процесса; хотя, разумеется, многое еще предстоит сделать, вполне ясны проблематика и пути ее освоения. В целом за пределами СССР удовлетворена потребность в преподавателях русского языка: сейчас их уже более 120 тысяч и, ориентировочно, столько же переводчиков и других специалистов, для которых русский язык является профессией. Ежегодно за рубеж командируются около 2,5 тысяч советских русистов, более 12 тысяч зарубежных граждан обучаются или повышают свою

квалификацию в СССР по специальности «русский язык и литература». Работает Институт русского языка им. А. С. Пушкина и его зарубежные филиалы, а также специализированное издательство «Русский язык». Трибуной научно-методической мысли и источником информации из СССР стал журнал «Русский язык за рубежом», имеющий подписчиков в 82 странах. Значительную роль в распространении русского языка в мире играет Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ), объединяющая свыше 80 тысяч преподавателей, методистов и ученых из 67 стран. Все массовые формы преподавания русского языка иностранным гражданам в СССР и за его рубежами обеспечены программами, учебниками, словарями, видеокурсами и иными пособиями с использованием технических средств.

Русский язык в организованных формах изучают в текущем учебном году более 23 млн. человек в 102 государствах. Сложившаяся материальная база, наличие и постоянный рост во всех странах числа лиц, владеющих практически русским языком, ставит на повестку дня новую задачу — задачу расширения фактического использования и функционирования русского языка за пределами территорий его существования как родного или «второго родного» языка населения. Вопрос, как, где, зачем применять русский язык, стал не менее важен, чем вопрос, как и где обучиться русскому языку. От его решения зависит дальнейшее увеличение желающих изучать русский язык, совершенствование преподавания, эффективность которого прямо пропорциональна интересам учащихся, практической пользе от знания этого языка.

Распространение русского языка в качестве «мирового», то есть в качестве языка широкого международного употребления, сопряжено с неуклонным ростом авторитета СССР в современном мире, глубоким интересом народов к опыту строительства социализма, к советской экономике, политике, науке и технике, к коммунистической идеологии. Русский язык вошел в «клуб мировых» не просто как нейтральный член, заслуживший это право своими достоинствами, равными достоинствам других наиболее развитых языков человечества, но как первоисточник общественно-политических идей социализма, мира и сотрудничества. Это обстоятельство, вне всякого сомнения, определяющее перспективы будущего исторического развития,

конъюнктурно весьма неоднозначно сказывается на функционировании русского языка, на его укоренении в разных социально-экономических и политических системах.

Растут сферы применения русского языка в экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, в контактах ученых, в различных деловых взаимосвязях между социалистическими странами, в деятельности СЭВ, а также ООН, ЮНЕСКО и других авторитетных международных организаций. Напротив, в капиталистических странах на пути русского языка воздвигаются искусственные барьеры, распространяются мифы о его необыкновенной «сложности», о его незначительной якобы общечеловеческой информационной ценности и т. п. Достаточно противоречиво складывается положение с изучением и применением русского языка в развивающихся странах.

Но все же новизна ситуации в том, что принципиальное значение имеет уже не столько факт интереса к русскому языку, сколько его применимость, реальное использование для удовлетворения профессиональных, культурных и иных коммуникативных запросов личности. Соответственно, наряду с культурными (а порой и культурническими) мотивами, все чаще звучат жизненно-базисные: на вопрос, почему вы изучаете русский язык, наряду с традиционными ответами — «Я люблю русских людей и хочу знать их язык», «Учу, потому что хочу поехать в СССР, побольше узнать о нем» — все чаще встречаются: «Мне он нужен для работы», «Финскому инженеру при сегодняшнем сотрудничестве знать его необходимо», «Изучаю физику, а по-русски много пужной мне специальной литературы». Важны и общественно-политические мотивы: «Я коммунист и изучаю русский язык по идеологическим убеждениям», «Он мне нужен для чтения марксистской литературы», «По-русски громче всего раздаются призывы к миру и социальной справедливости».

Потребность в языке определяют растущие экономические и торговые, научные и технологические связи и контакты: реальным средством общения и получения информации становится русский язык в экономической интеграции стран СЭВ, на объектах сотрудничества в развивающихся странах, в профессиональной жизни и бытовом общении иностранных специалистов — выпускников советских вузов и т. п. Именно в этих обстоятельствах социально-психологические «личностные мотивы» (потребность в

информации, в общении на русском языке, в познании раскрываемых им духовных богатств) сочетаются с «мотивами группового давления» (необходимость восполнить вакуум, когда не знаешь то, чем владеет большинство). Всеохватывающая внутренняя потребность, общественная и личная, в языке, помимо родного, тесно связана с экономикой, производством, кооперацией и НТР, а также с идейно-политическими интересами. Все это и побуждает разные народы к изучению языка, наиболее удобного для взаимоотношений.

Применительно к многонациональной России В. И. Ленин писал, что «потребности экономического оборота сами собой *определят* тот язык данной страны, знать который большинству *выгодно* в интересах торговых сношений. И это определение будет тем тверже, что его примет добровольно население разных наций, тем быстрее и шире, чем последовательнее будет демократизм...» (Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 23, с. 424).

Придавая в национальном вопросе огромное значение экономике, В. И. Ленин в то же время обращал внимание на важность психологического аспекта проблемы. По его мысли, именно экономика делает русский язык необходимым, но нельзя не учитывать и «той *психологии*, которая особенно важна в национальном вопросе и которая при малейшем принуждении поганит, пакостит, сводит на нет бесспорное прогрессивное значение централизации, больших государств, единого языка» (Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 48, с. 234).

Рассматривая внутреннюю потребность в русском языке в странах мира конца XX века в свете этих основополагающих положений, следует прежде всего исходить из того, что успехи советской экономики, науки, политики, сплоченность содружества социалистических стран во главе с СССР создали необходимые условия для широкого использования русского языка за пределами территории его исконного полнокровного функционирования. Однако этот неоспоримый факт требует постоянного идеологического и научно-педагогического подкрепления для пропаганды и фактического укоренения русского языка в мировом обиходе, для приобщения к нему (наряду с десятками тысяч специалистов-русистов) широкой массовой аудитории, для которой русский язык становится нужной частью образования, полезным дополнительным знанием

и средством удовлетворения профессиональных и культурных запросов.

В идеале потребность в русском языке должна быть общей, но при этом нельзя не считаться со статусом родных языков разных наций, с ролью традиционных языков мирового распространения и функционирования, особенно английского. Глубокое изучение этой потребности, общественной по природе, и путей ее (как говорят социологи) интеоризации в личную потребность отдельных людей составляет важную задачу и патриотический долг советских ученых.

Мы знаем, что русский язык — бесценное сокровище, и от души готовы поделиться им с теми, кто хочет его познать. Русское слово в устах иноземца вселяет в нас гордость за могучий и прекрасный язык Пушкина, Тургенева, Горького, Шолохова, за язык Ленина, русский язык — полпред нашей великой страны.

Мы привыкли к журналистским фразам — «Русский язык изучают миллионы, он широко шагает по планете», но склонны забывать или не придавать значения тому факту, что это язык современной технологии и науки, источник общечеловеческих опыта и мысли, что это мировой язык, если на нем общаются друг с другом, скажем, немец и китаец, независимо даже от их отношения к русским. Наши журналисты репортируют: я, де, не прибегая к помощи переводчика, на днях говорил с представителями десятка разных стран. И не жестами. Не на эсперанто, а по-русски. И это в репортаже о семинаре русистов! Так ли удивляются журналисты, попав на международный конгресс, участники которого все говорят по-английски? А ведь мы часто даже преподаем русский язык, например учащимся из Африки, на базе английского или французского. Русский же язык как ключ к познанию, если не английского языка, то химии, физики, математики, нами еще не осмыслен. Всеизвестно, пожалуй, только, что, не зная русского, нельзя сегодня стать классным специалистом в шахматах и космонавтике — в этих и ряде других сфер информационная уникальность русского языка, даже сравнительно с английским, очевидна. Психологическим достоянием всего мира стало, конечно, признание величайшей общечеловеческой ценности русской классической и советской литературы, а также марксистской философской мысли, опыта социалистического строительства;

Объективно же русский язык в настоящее время обладает поразительной информационной ценностью, соперничая в этом лишь с английским: на обоих кодируется до 75—80 процентов всей существующей и производимой в мире информации. Это язык могучей индустриальной державы. Язык ведущей в мире школы математиков. Язык страны, продающей ежегодно (в том числе в США) на десятки миллионов долларов лицензии и патенты различных изобретений. Язык страны, занимающей одно из первых мест в мировой торговле.

Принципиальное значение для успешного функционирования языка имеет «текстовое обеспечение». Самое укоренение языка, его становление, зрелость, любая реформа или сдвиг в функциях, социализация норм литературного стандарта, рост числа посетителей языка неразрывно связаны с созданием текстов, отвечающих общественным интересам. Именно в историко-содержательных текстах язык обогащается и шлифуется. С текстами увязывается расширение и внутреннего и внешнего пространства языка, приобретающего общечеловеческое значение и вызывающего к себе интерес разных народов. А. С. Пушкин справедливо заметил: «Чуждый язык распространяется не саблею и пожарами, но собственным обилием и превосходством» (Пушкин А. С. Поли. собр. соч. изд-во АН СССР, 1949, том 11, с. 32).

Богатство, тематическое разнообразие и фактическая доступность (миллионные тиражи книг, их организованный экспорт, вещание по радио и т. д.) литературы на русском языке обеспечивают укоренение русского языка (как и других мировых), его широкое функционирование в мире. Лишь в «Библиотеке всемирной литературы», законченной в 1977 году, выпущено 200 томов (из них 137 переводных) общим тиражом свыше 60 млн. экземпляров — 25 800 произведений 3235 авторов (из них 2600 зарубежных, представляющих более чем 100 языков). Такое монументальное собрание мировой классики существует только на русском языке, суммируя все лучшее, что создано со времени изобретения книгопечатания — от магического эпоса в клинописи на шумерских табличках из глины до реалистических романов-эпопей и новейших форм стихосложения, и воссоздавая картину исторической протяженности и преемственности мирового художественного гения.

Нельзя, однако, не сказать, что эта информация на русском языке используется пока в мире далеко неадекватно ее обилию и ценности. Говоря образно, русский колодец, по запасам источника и качеству воды превосходящий французский, испанский, немецкий и, быть может, английский, пока необустроен; к нему только еще протоплена дорожка.

Необходимо решительнее внедрять русский язык во внешнеторговую и научно-техническую документацию хотя бы в виде параллельных текстов в рекламе, в инструкциях к экспортируемой фототехнике, часам, электро- и иным бытовым товарам, промышленному оборудованию, товарам, поставляемым в зарубежные страны на условиях безвозмездной помощи. Надо настойчиво требовать от ино-поставщиков и контрагентов технической документации на русском языке на продукцию для поставки в СССР, знания русского языка у специалистов, командируемых в СССР по техобслуживанию и техмонтажу. Не грех подумать о том, что вряд ли на экспортируемых товарах стоит писать латинскими буквами по английской орфографии фирменные знаки «Volga», «Lada», «Poljot» и т. п.

Одним словом, исторический объективный процесс освоения русским языком всемирного пространства требует с нашей стороны продуманной системы мероприятий, обеспечивающих его и разрешающих психологический аспект проблемы.

Всемирное распространение русского языка, завоевание им внешнего пространства связано с расширением его внутреннего пространства — с ускоренным и бурным совершенствованием, высокими темпами прогресса. Связь этих социальноязыковых и собственно языковых, структурных процессов очевидна, хотя в деталях недостаточно изучена. Лингвистическая суть понятий *коммуникативная эффективность, совершенство, богатство и развитость языка* остается пока нераскрытой. Ясно в то же время, что русский язык сейчас движется в кругу других пяти-семи языков глобального распространения и всемирной культуры, на глазах наращивая темпы как в охвате все новых стран и слоев населения, так и во внутреннем своем развитии. В нем бурно развивается, пользуясь новым термином социолингвистики, способность «межпереводимости», качество универсализации, или интернационализации, стилистическая гибкость, сознательная

кодификация, особенно в терминологии, примат семантических закономерностей над формальными ограничениями и многие другие явления.

Широкое, всемирное изучение русского языка, закрепляемое реальным его функционированием на международной арене и в отдельных странах, — не только следствие исторических успехов нашей Родины, но и фактор, укрепляющий ее авторитет. Оно на пользу советскому народу и всему человечеству. Повышение эффективности использования русского языка рисуется как важная политическая, патриотическая и интернационалистическая задача. Место и роль русского языка в мировом сообществе языков определены усиливающимся духовным взаимообогащением народов, развитием международного экономического, научно-технического и культурного сотрудничества.

«Несмотря на международную напряженность, здесь имеются благоприятные возможности, — подчеркнул на апрельском (1985 г.) Пленуме ЦК КПСС М. С. Горбачев в своем докладе «О созыве очередного XXVII съезда КПСС и задачах, связанных с его подготовкой и проведением». — Подход к взаимовыгодным экономическим связям и внешней торговле должен быть широким, крупномасштабным, обращенным в будущее». В этой связи значение русского языка как средства глобальной коммуникации еще более возрастает и укрепляется тем, что он несет миллионам жителей Земли духовное и культурное богатство советского народа, достижения реального социализма, коммунистическую идеологию, гуманизм миролюбивой ленинской внешней политики мира, взаимопонимания и дружбы между всеми людьми на планете.

Русский язык эпохи НТР: споры, мнения, оценки

С. И. ВИНОГРАДОВ,
кандидат филологических наук

Язык неслучайно называют барометром общественного развития. Поступательное движение советского общества оказало глубокое воздействие на русский литературный язык, привело к изменениям в составе языковых средств, расширению его функций. Невиданный подъем культуры, рост народного образования, развитие устных и письменных форм массовой информации (печати, радио, телевидения) привели к широкому распространению литературного языка в обществе, сделали его достоянием всех слоев населения нашей страны.

Значительное воздействие на русский язык оказала и продолжает оказывать научно-техническая революция. Ее влияние распространяется на разные стороны языка и имеет различные проявления — от стирания диалектных различий до бурного роста терминологии. Но говоря о новом в языке, не следует забывать, что язык — устойчивая система, его развитие происходит постепенно, с обязательной опорой на традицию. Самые значительные, революционные преобразования общества не ведут к «революции языка». Проблема старого и нового, преемственности и развития в языке — одна из ключевых в общественно-языковых дискуссиях. Она рассматривается под разными углами зрения, в том числе (и очень часто) под таким: какое влияние оказала или должна оказать научно-техническая революция на русский язык?

В некоторых выступлениях (особенно специалистов в области техники и точных наук) явно ощущается стремление найти общую формулу современного языкового состояния. Достаточно широкое распространение получили мнения о неизбежной (или необходимой) в эпоху НТР «рационализации», «интеллектуализации» и даже «технизации» русского литературного языка. По взглядам сторонников этой точки зрения, язык современности должен быть устроен на строго рациональных основаниях, во всем следовать закономерностям реального мира, обязательно находиться только в однозначных отношениях с действительностью. Все, что противо-

речит этому, критикуется и отвергается. Поэтому, например, ставится вне закона многозначность слова, поскольку здесь отсутствует необходимая однозначность соответствий между языком и реальностью. Расцениваются как заведомо ложные и поэтому решительно отвергаются такие слова и выражения, как *громоотвод* или *солнце зашло*, так как они якобы противоречат научным представлениям о мире.

Требования, предъявляемые к термину (скажем, точности обозначения), не следует распространять на лексику общенародного словаря. Об этом писал в газете «Советская культура» сибирский литератор Б. Петров, размышляя о пазваниях *вечная мерзлота* и *многолетнемерзлотные грунты*: «Всю жизнь говорили: Норильск стоит на вечной мерзлоте, а недавно читаю — на *многолетнемерзлотных грунтах*. Поинтересовался: зачем понадобилось изобретать неуклюжий термин? Оказывается, мерзлота — не вечная. Нет ничего вечного на этой земле, да и незачем нам утверждать свою покорную зависимость от слепых сил природы. Так что, видите, *многолетнемерзлотные грунты* даже с философской точки зрения целесообразнее. Не собираюсь вмешиваться в производственно-техническую терминологию (хотя следовало бы, когда видишь, что в этой сфере активно уродуют родную речь. Однако уж не до того). Но, товарищи узкие специалисты, не посягайте на общенародное достояние!»

Думается, оценка писателя все же требует определенного уточнения. Наименование *многолетнемерзлотные грунты* как термин вполне приемлемо: оно точно выражает соответствующее понятие, образовано по продуктивной в терминологии модели. Однако так же ясно, что ему не удастся вытеснить из общего словоупотребления словосочетание *вечная мерзлота*, на стороне которого традиция, распространенность, общепринятость и более привычная для литературного языка форма.

Подход к языку с позиций «инженерного» мышления, его оценка на основе принципов формальной логики, разумеется, неправомерны. У языка своя логика, свои законы развития. Его нельзя рассматривать как жесткий код, где бы полностью отсутствовали избыточность, многозначность, вариативность: ведь во многом благодаря именно этим свойствам естественный язык успешно выполняет важнейшую функцию средства общения и накапливает в себе огромный потенциал выразительных возможностей.

* * *

Среди разных суждений о языке эпохи НТР встречаются и такие, в которых вся многообразная жизнь языка сводится к тенден-

циям «трех и» — интеграции, интернационализации, интеллектуализации. Как ведущая при этом обычно рассматривается и н т е р н а ц и о н а л и з а ц и я. Нужно сказать, что в определенных пределах это понятие действительно применимо к современному русскому языку. С одной стороны, возрастает его роль как языка межнационального и международного общения, с другой — он обладает значительным фондом интернациональных слов и морфем (корней, приставок, суффиксов), причем их состав постоянно расширяется. По подсчетам специалистов, сегодня в русском языке насчитывается около 1100 интернациональных морфем, а из 2,5 тысяч самых частотных слов (данные «Частотного словаря современного русского литературного языка» Э. Штейнфельдт) 290 составляют интернационализмы, обычно традиционные: *автомат, аппарат, библиотека, география, журнал, история, концерт, лекция, операция* и т. п.

Однако значение интернационализации в языковом развитии порой неоправданно преувеличивается. Вряд ли есть основания рассматривать ее как ведущий и всеобъемлющий языковой процесс современности. Прежде всего интернационализация проявляется в языке неравномерно: какие-то участки и звенья она затрагивает в большей степени, другие — в меньшей. Это подтверждают, в частности, и лингвосоциологические исследования. По данным одного из них, интернационализмы в научно-популярном тексте составляют 16,5 процента словоупотреблений, в газетном — 13,7, в художественном — 4,5. Кроме того, неправомерно противопоставление интернационального и национального в языке, когда первому отводится господствующее положение, а ведущая роль национального признается только за далеким прошлым и к тому же связывается с крайностями национального пуризма. Русский язык, всегда открытый для необходимых заимствований, и в эпоху НТР остается компонентом национальной культуры, существует и развивается на собственной основе, сохраняя преемственную связь с прошлым. Как справедливо замечает ученый-языковед К. С. Горбачевич, «технический прогресс не ведет к созданию принципиально нового языка. Приток заимствованных терминов и увеличение удельного веса интернациональных слов вовсе не означают стирания национальных граней» (Горбачевич К. С. Русский язык. Прошлое. Настоящее. Будущее. М., 1984, с. 108).

Между тем в некоторых выступлениях всерьез идет речь о возникновении особого «научно-технического стиля» или даже нового «научно-технического языка». Чаще всего эти мотивы появляются в дискуссиях о языке художественной литературы. Эти вопросы широко обсуждались на страницах «Литературной газеты».

Писатель М. Колесников в статье, знаменательно названной «Новые образы — новый язык», утверждает: «...пока мы, писатели, спорим, порождают ли новые условия существования свой специфический язык, читатель уже разговаривает на этом языке. У нас на глазах интенсивно проходит процесс формирования нового социального типа труженика будущего. Это и есть наш читатель. И мы хотим разговаривать с ним на языке людей, приобщенных делами своими к будущему». В художественном творчестве пришло время формирования «новой поэтики», которая должна сложиться, по словам автора, «на пересечении художественного и инженерного мышления». Главная черта «новой поэтики» и «нового языка» — введение в художественную речь «промышленной лексики», специальных слов, что называется, «по потребности», без каких-либо ограничений.

Но ведь художественное освоение лексических богатств национального языка, свободное обращение к словарному составу во всем его объеме (включая и специальную терминологию) всегда было присуще русской реалистической литературе. Разумеется, нет и не может быть запретов и искусственных ограничений на использование специальных слов в художественной литературе. «Как же в наше время техники,— справедливо замечает поэт Е. Винокуров,— можно уйти от научного термина, подчас остро необходимого для выразительности?»

Думается, в обсуждении данной проблемы более прав другой участник дискуссии — лауреат Государственной премии СССР конструктор Б. Процеров (можно сказать, непосредственный участник НТР). По его мнению, современный уровень науки и техники вовсе не требует «какого-то специального „научно-технического“ литературного стиля, основанного на „научно-технической“ поэтике. Совершенно необязательно, чтобы литературные герои говорили только на языке сугубо научных трудов и только о достижениях научно-технического прогресса. Кстати, на самых современных заводах изделия и детали со сложными и тем более с наукообразными названиями обычно переименовываются — чтобы было проще и понятней...» И в современных художественных произведениях «нынешние герои» должны изъясняться «не на перспективном научно-техническом диалекте, а на современном литературном языке». К этому можно добавить, что реалистическое изображение действительности вполне допускает применение в художественной литературе терминов, профессиональных слов, разного рода «технизмов». Но выступают они здесь не как частицы какого-то мифического особого языка, а как эстетически преобразованные элементы русской речи.

Языковые приметы НТР многочисленны и разнообразны. Это, например, возрастание роли языка науки, лавинообразный количественный рост терминологической лексики, широкое освоение терминов литературным языком. Однако все это ни в коей мере не означает, что русский литературный язык вступает в какое-то новое качество, проходит через стадию всеохватывающей «рационализации» или «интеллектуализации», видоизменяется в некий «научно-технический» язык. Русский язык современности обслуживает все сферы деятельности и общения людей, располагая для этого всеми необходимыми ресурсами. И поэтому приводить происходящие языковые изменения к какой-то общей универсальной формуле — значит упрощать или даже искажать языковую действительность.

Самый яркий и динамичный языковой процесс, обусловленный научно-технической революцией, — бурное развитие специальной терминологии, своего рода «терминологический взрыв», происшедший во многих языках мира. Достаточно сказать, что в лексиконе только одной области техники — электроники — входит 60 000 наименований (для сравнения приведем: «Словарь русского языка» С. И. Ожегова последних изданий включает около 57 000 слов). Это далеко не предел: по данным специальной литературы, словарь современной химии насчитывает несколько миллионов терминов.

Естественно, что терминология находится сегодня в центре общественного внимания. Вокруг терминов то и дело вспыхивают споры: нужен ли данный термин в языке? какому термину — русскому или заимствованному — следует отдать предпочтение? допустимо ли употребление терминов в переносном значении? Эти и другие вопросы широко обсуждаются на страницах печати и в лингвистических работах.

Споры о том, нужен или нет данный термин в языке, обычно возникают тогда, когда наряду с терминологическим наименованием существует слово общелитературного языка с той же предметной отнесенностью. Типично в этом отношении такое мнение, приведенное в газете «Советская Россия»: «Таинственное исчезновение привычных и всем понятных слов и замена их трехэтажными конструкциями удивляет... С каких пор *портной* стал *мастером индпошива*? Старый добрый *стрелочник* — *дежурным по стрелочному посту*? А милая *дойрка* — *тяжеловесным оператором машинного доения*?»

Особенно много нареканий вызвало словосочетание *оператор (мастер) машинного доения*, которое было воспринято как неудачное переименование профессии, вытеснившее традиционное название *дойрка*. Вот что пишет в «Литературной газете» по этому по-

воду писатель В. Субботин: «Я вот был на Украине, на одной животноводческой ферме, и услышал тут, на ферме, удивившее меня, показавшееся мне во всей этой обстановке чуждым слово *оператор*. Откуда оно здесь?.. Тут же, возле коров, на этой ферме — это просто дояр, вернее даже доярка, потому что речь шла о женщине. Все тот же дояр или доярка, пусть даже и пользуется она доильным аппаратом. Теперь кто-то решил, что называть специалиста, хозяина доильной установки по-старому слишком просто, и перекрестили доярку в оператора». Сходное мнение высказал в газете «Правда» писатель Е. Пермяк: «Доярка, к примеру говоря, — точное и правильное название профессии, а его заменяют благозвучным трехсловием: мастер машинного доения. Длиннее, но горделивее».

Однако по поводу этих наименований есть и другие суждения: «В целом среди операторов машинного доения, — пишет журналист Б. Вахромеев в „Ленинградской правде“, — доля мужского труда начинает расти, и трудно представить обстоятельства, которые остановили бы этот процесс... Если иметь в виду престижность профессии, то даже ее название немаловажно... „Учиться на дояра“ — такая формулировка не вызовет энтузиазма у подростков. Но „дояром“ и не назовешь работника, который не только приводит в действие вакуум-аппараты, но и ремонтирует, налаживает оборудование. Он становится по существу животноводом широкого профиля. Его труд сближается по характеру с трудом городского рабочего».

Таким образом, в пользу нового, терминологического наименования приводятся два аргумента: оно более точно отражает сам характер труда и способствует поднятию престижа профессии. Оба этих фактора играют немаловажную роль в терминообразовании. Показательна оценка названия *оператор (мастер) машинного доения*, данная непосредственным представителем профессии и опубликованная в газете «Сельская жизнь»: «Благодаря энтузиазму, инициативе комсомольцев, помощи старших товарищей ферма наша стала полностью механизированной. С тех пор профессия моя стала называться *мастер машинного доения*. Это уже звучало по-мужски, и были все основания для гордости своей работой».

Создание словосочетания *оператор (мастер) машинного доения* представляется вполне закономерным. Это новое, технологически более точное наименование входит в состав соответствующей профессиональной номенклатуры, а слова *дояр* и *доярка* остаются общелитературными и общеупотребительными названиями профессии, без каких-либо ограничений допускаемыми в тексты любого речевого жанра.

Иногда неприятие термина связано с незнанием его точного

значения. Так произошло, например, со словом *сенаж*, причиной недовольства которым (а оно неоднократно высказывалось в печати) стало его отождествление с «чарующим, благоухающим, поэтичнейшим» (как говорилось в одном из выступлений) словом *сено*. Между тем *сено* и *сенаж* — разные виды корма для скота, заготавливаемые и хранимые по разной технологии. Любопытную в этом смысле оценку слова *сенаж*, данную старым крестьянином, приводит в «Советской культуре» Б. Петров: «— Сенаж-то, однако, добре придумали. Я вон махал матушкой литовкой, да не к ведру угадал — под самый сеногной. А совхоз свою люцерну на сенаж и в сырость убирает».

Конечно, сказанное совсем не означает, что все создаваемые термины необходимы и безусловно приемлемы. Напротив, в терминологии еще нередко встречается неоправданная дублетность, многие термины неудачны со словообразовательной, нормативной или эстетической точки зрения. Преодоление этих недостатков — важная задача унификации и нормализации терминологии.

* * *

Одним из наиболее острых в современных дискуссиях о языке можно считать вопрос об иностранных словах в русской терминологии. При этом внимание обращается как на роль заимствований в процессе создания и развития терминологии, так и на использование иноязычной лексики в научной и научно-популярной литературе. Нужно сказать, что нередко иностранные слова отвергаются без учета их места в словаре, степени освоенности, круга распространения. Такой подход к терминам-заимствованиям неисторичен и бесперспективен. Русская терминология на протяжении всей истории русской науки формировалась с широким привлечением лексики из других языков, что отнюдь не лишило ее национального своеобразия.

Многие из иностранных терминов, вошедших и входящих в русский язык, интернациональны, удобны своей однозначностью и смысловой определенностью, общеприняты в кругу специалистов и широко известны за его пределами. Поэтому выглядят нереальными или даже просто наивными попытки заменить тот или иной заимствованный термин реально существующим или искусственно созданным русским словом. Так, например, один из читателей «Литературной газеты» предложил ввести в употребление вместо широко распространенных *компьютер* и *дисплей* изобретенные им *самосчет* и *графовизор*. Предложенные слова и сами по себе весьма неудачны: *самосчетом* скорее может быть назван арифмометр, а на экране дисплея информация отображается не только в графической

форме. Что касается термина *компьютер*, то это заимствование из английского языка прочно утвердилось в русской терминологии и сегодня известно практически каждому. Однако несмотря на это, порой оно расценивается как «ненужное», «излишнее». Аргумент здесь таков: в русском языке существует собственное название данного устройства — *электронно-вычислительная машина (ЭВМ)*. Но вот мнение специалиста — директора Ленинградского научно-исследовательского вычислительного центра АН СССР В. М. Пономарева, высказанное в «Литературной газете»:

«Между двумя этими понятиями поначалу не было никакой разницы. Электронно-вычислительная машина (ЭВМ) — это русский аналог английского слова *компьютер*. Однако сейчас действительно все чаще употребляется последнее в своем первоначальном виде. В словах *вычислительная машина* упор как бы делается на вычисление, а современный компьютер — устройство, осуществляющее много функций. Он не только вычисляет, но и хранит информацию, позволяет ее при необходимости востребовать, оперирует числами, словами, зрительными образами, изображаемыми на экране, выносит результаты работы на печатное устройство». К этому можно добавить, что термин *компьютер* удобен и в собственно языковом отношении: от него легко образовать (и они уже образованы) производные — *компьютерный, компьютеризация*.

Всегда ли обосновательна критика увлечения иноязычной терминологией? Нет, далеко не всегда. Во многих случаях в обращении к иностранной терминологии действительно нет необходимости, особенно тогда, когда в русском языке традиционно существуют соответствующие терминологические единицы. Интересны в этом смысле рассуждения по поводу терминов *флюс* и *плавень* — «вещество, вводимое в шихту для образования шлака», приведенные в книге А. К. Югова «Думы о русском слове»: «Флюс — слово немецкое. И, конечно, не этим оно мне неприятно. А тем, что сколько я его слышу, каждый раз мне представляется... распухшая от флюса щека, подвязанная платком. А ведь чтобы замену ему найти, русскую, совсем и выдумывать ничего не надо, а просто надо вернуться к давно уже созданному слову *плавень*. Это наши рабочие-доменщики его создали. И какое же чудесное слово! Сколько в нем этой самой нашей вещественности: вещества, способствующие сварке, плавке, — и вот вам *плавень!*..» Трудно не согласиться с этой оценкой, тем более что слово *плавень* давно бытует в русской металлургической терминологии; включено оно и в толковые словари русского языка.

Серьезную озабоченность у участников дискуссий вызывает наплыв англицизмов в современную русскую терминологию. Разу-

меется, заимствование многих терминов из английского языка или через его посредство объективно и в определенном смысле неизбежно. Но в то же время явно неприемлем путь формирования и пополнения терминологии при основной ориентации на английскую лексику. Вряд ли целесообразно прибегать к помощи заимствований в том случае, когда приоритет научных открытий принадлежит советской науке. Да и в других ситуациях введение в терминологию английских слов далеко не всегда выглядит оправданным.

Крупный советский языковед член-корреспондент АН СССР Ф. П. Филин писал по этому поводу: «Словообразовательные средства русского языка не оскудели, возможности их неограниченны, но используются они в гигантском росте научно-технической терминологии очень недостаточно. Проще, бездумней использовать вычитанную и непереведенную из литературы на английском языке терминологию, чем создавать свою собственную. Не изжиты еще и иные психологические основания: чем иностранней и непопятней, тем якобы учены и цивилизованней. Бывает, что за темной языком удобно прятать пустоту содержания» (Вопросы языкознания, 1975, № 3).

Опора в терминотворчестве на ресурсы русского языка, конечно, не означает отказа от иностранных терминов. Однако необходимо преодолеть стихийность процесса заимствования, сделать его управляемым, выработать надежные критерии целесообразности или нецелесообразности введения в русский язык терминов из других языков.

Трудно, да и не нужно устанавливать какую-то дозировку в использовании иноязычной терминологии в научной и научно-популярной литературе. Но ее применение должно диктоваться только необходимостью передачи определенной информации, а не погоней за наукообразием изложения.

Нередко термины употребляются в переносном значении, применяются как средства языковой выразительности, как своего рода «терминологические метафоры». Неизбежный в этом случае отрыв от первоначального, терминологического значения порой неоправданно воспринимается как нарушение нормы словоупотребления. Примером может служить существительное *эпицентр*, точнее — его использование в сочетаниях типа *эпицентр событий*, *эпицентр славы*, *эпицентр Спартакиады*. В одном из писем, опубликованных в газете «Советская Россия», говорится: «Когда-то кто-то вычитал в информации о землетрясении слово *эпицентр*. Очень оно понравилось. *Центр* — это примитивно, а вот *эпицентр* — научно! А ведь слово *эпицентр* означает точка над центром. Таким обра-

зом, находиться в эпицентре — значит быть вне места, где происходит описываемое событие».

В подобных оценках не учитывается, что детерминологизация (переход термина в общелитературный язык) — распространенный языковой процесс — закономерно сопровождается сдвигом значения. Кроме того, данное употребление поддержано общей тенденцией к созданию экспрессивных выражений с использованием терминов, популярных в публицистике: *алгоритм поведения, инфляция успеха, вирус стяжательства*. Переносное значение существительного *эпицентр* — «место, где с наибольшей силой проявляется что-либо» зафиксировано и в словарях современного русского языка.

Вместе с тем следует помнить, что употребление терминов за пределами специальной речи требует известной осмотрительности и должно подчиняться нормам литературного словоупотребления.

* * *

Развитие русского языка в современную эпоху характеризуется не только появлением нового, но и утратой того, что еще сравнительно недавно было его неотъемлемой чертой. Постепенно происходит нивелировка русских диалектов — говоры перестают быть реальной языковой базой речевого общения людей. Этот процесс неизбежен и необратим. Но вместе с говорами уходит в прошлое диалектная лексика — истинная сокровищница русского слова, где по крупницам собран хозяйственный и духовный опыт народа, история его культуры и быта. Имеем ли мы право спокойно отказываться от этого наследия, от всего того, что представляет непреходящую культурно-эстетическую ценность? Разумеется, нет. Именно периоду развитого социализма в особой степени присущ обостренный интерес к прошлому, истории, культурному наследию. Все это свойственно и нашему отношению к языку. Неслучайно в последнее время во многих выступлениях поднимаются вопросы сохранения и охраны русского языка, или, как об этом все чаще говорят, языковой экологии. Но это предмет отдельного разговора.

„Нет истины, где нет любви“

О содержательной роли противительного союза “но”
у А.С. Пушкина

А.Н. АРХАНГЕЛЬСКИЙ

То, что этическая позиция писателя отзывается во всех «уголках» его художественного мира — давно и безоговорочно признано. Философских осмыслений этой истины множество, все они глубоки, интересны, иногда даже блистательны... Но если не настроенный на философский лад читатель полюбопытствует, как это происходит на деле, здесь ему будет гораздо труднее получить ответ. Все еще сильна инерция традиционного подхода к материальной фактуре произведения как к сфере чистого «мастерства», не пронизанного светом личностного мироотношения писателя. А между тем даже самые «мелкие», незаметные элементы художественного языка способны стать носителями значительного смысла; и чем крупнее гений художника, тем больше «уровней» формы охватывает он содержанием, делая их выразителями своей духовной жизни...

Позиция позднего Пушкина — ясное и мужественное утверждение бытия и всех его основ; ни страдания, ни утраты не способны омрачить представление Пушкина о безусловно светлом, гармоничном начале, на котором «держится» мир. В статье «Александр Радищев», написанной в 1836 году, поэт классически сформулировал пафос своего жизнеощущения: «...нет убедительности в поношениях, и нет истины, где нет любви» (здесь и далее цитаты из Пушкина даются по изданию: Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в XVI тт. М.—Л., 1937—1949). И пафос этот стал основной темой его «вершинного» творчества, «средоточием и царством его», если пользоваться словами Гегеля.

Но связано ли все это с проблемой, поставленной в данной статье? Связано, и самым непосредственным образом. Противительный союз «но» тоже стал — как ни парадоксально это звучит — «выразителем» пушкинского пафоса. Это не значит, конечно, что он утратил свои чисто синтаксические и стилевые функции (то есть перестал быть союзом в самом точном и привычном смысле термина). Вовсе нет. Но это значит, что в контексте многих пушкинских стихотворений 1830-х гг. он мог приобретать

новые, дополнительные, по сравнению с общеязыковыми, «обязанности» — этические и эстетические.



обратимся к пушкинским текстам.

Незавершенный набросок перевода монолога Федерико из драмы Барри Корнуола «Сокол» состоит из двух частей. Первая содержит инвективу:

...Чем я заслужил
Твое гоненье, властелин враждебный,
Довольства враг, суровый сна мутитель?...

Вторая начинается со слов, которыми герой обрывает свои упреки:

Но нечего об этом толковать.

И здесь дана завязка новой темы, которую Пушкин оставил без развития:

Я чувствую, что не совсем погибнул
Я с участью моей.—

То есть, начинается отрывок сомнением и отрицанием, а завершается победой над ними, и «но» становится как бы регистром, переводящим тему в иной философский план.

Впрочем, может быть, причиной тому — текст Корнуола, а не творческая воля Пушкина? Чтобы развеять сомнения, процитируем восьмистишие, написанное несколькими днями ранее:

Я думал, сердце позабыло
Способность легкую страдать,
Я говорил: тому, что было,
Уж не бывать! уж не бывать!
Прошли восторги, и печали,
И легковерные мечты....
Но вот опять затрепетали
Пред мощной властью красоты.

«Я думал, сердце позабыло...»

Последние две строки как бы вспыхивают светом вернувшегося счастья и осуществившейся надежды. И переключает наше внимание на светлую сторону бытия именно «но»!

Все, в том числе и драматическое начало, способно стать в пушкинской системе поводом для появления утвердительной интонации. Так, «Элегия» 1830 года, написанная в первую Болдинскую осень, как и большинство стихотворений последнего периода, состоит из двух частей. Первая в основе своей традиционна. Взгляд поэта обращен в прошлое; оно разочаровывает его; однако тем сильнее присутствует в нем, чем большее страдание вызывает:

Безумных лет угасшее веселье
Мне тяжело, как смутное похмелье.

Но, как вино — печаль минувших дней
В моей душе чем старе, тем сильней.

Настоящее ужасно: «Мой путь уныл». Будущее вроде бы тоже безотрадно: «Сулит мне труд и горе / Грядущего волнуемое море». «Печальное воспоминание» становится — пусть тяжелой и смутной, как похмелье, — но все же о т р а д о й в унылом настоящем. Все это знакомо нам по лирике русского романтизма.

Однако вторая часть (опять начинающаяся с противительного «но»!) становится как бы опровержением этого безысходного размышления:

Но не хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать;
И ведаю, мне будут наслажденья
Меж горестей, забот и тревоженья:
Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь,
И может быть — на мой закат печальный
Блеснет любовь улыбкою прощальной.

Здесь происходит нечто невозможное для обычной «песни грустного содержания», как определил элегию В. Г. Белинский. Страдание из причины для отрицания мира превращается в повод для его утверждения: «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать!» (курсив мой — А. А.). Попутно заметим, что вопреки распространенному мнению о сквозной безысходности элегического содержания, исторически элегия сложилась именно как жанр «двойственный» (формально состоящий из чередования строк гекзаметра и пентаметра), в котором чувство поэта как бы колеблется между печалью и радостью, и в итоге разрешается меланхолией: пафосом, равно чуждым как безудержному веселью, так и напряженному отчаянью. Пушкин знал об этом хотя бы из статьи Мальт-Брена «Рассуждение об элегии», напечатанной в 1814 году в «Сыне отечества», где было помещено также и стихотворение поэта. Но в пушкинскую эпоху, на наш взгляд, «унылая» элегия восторжествовала надо всеми остальными «жанровыми изводами», и, к тому же, рассматриваемая здесь «Элегия» предельно далека от меланхоличности.

В том же, 1830 году поэт печально заключил: «на свете счастья нет». И тут же (внимание на союз!) уточнил: «но есть покой и воля». Иными словами, восполнил переживание ущербности одной стороны жизни признанием благодатного избытка другой ее стороны. И в этом, несомненно, выразилось пушкинское миропонимание!

 то настолько очевидно, что, читая, например, незавершенный и тем не менее, общеизвестный отрывок:

Напрасно я бегу к Сионским высотам,
 Грех алчный гонится за мною по пятам...
 Так (?), поздри пыльные уткнув в песок сыпучий,
 Голодный лев следит оленя бег пахучий,—

невозможно избавиться от ощущения, что в ненаписанной (увы!) части стихотворения поэт собирался дать своей мысли неожиданный поворот, с блеском опровергнуть свое же собственное унылое умозаключение. И эта не созданная, но предполагаемая часть могла бы начинаться с противительного,— то есть противящегося пессимистическому отрицанию,— союза «но». Во всяком случае пушкинская художническая и мировоззренческая позиция подсказывает именно такое решение.

Впрочем, допустимо здесь и иное толкование. В новейших исследованиях о так называемом «каменноостровском цикле» Пушкина 1836 года (см., в частности: Старк В. П. Стихотворение «Отцы пустынники и жены непорочны» и цикл Пушкина 1836 г.— В кн.: Пушкин. Исследования и материалы. т. X, Л., 1982; Фомичев С. А. Последний лирический цикл Пушкина.— В кн.: Временник пушкинской комиссии. 1981. Л., 1985) высказывается убедительное предположение о том, что отрывок «Напрасно я бегу к Сионским высотам...» предназначался именно для этого цикла. Неясно лишь, какой «порядковый номер» имело стихотворение. С. А. Фомичев отвел отрывку четвертую позицию, связав его содержание с мотивом моления о чаше. Отсюда — драматическая интонация. Но произведение в цикле отчасти утрачивает самостоятельное значение и оказывается одним из этапов на пути к смысловому итогу. А пушкинский цикл должен был завершиться светлой приподнятостью последнего стихотворения, которым (опять же, по доказательному выводу С. А. Фомичева) мог стать «Памятник». Иными словами, роль, которую в других произведениях играл противительный союз «но», здесь как бы выполняло само сюжетное движение «каменноостровского цикла».

Перечитывая «Элегию» 1830 года, мы уже обратили внимание на то, что состоит она из двух противоборствующих частей, в первой из которых «воспроизводится» традиционная элегическая интонация, а во второй утверждается новый гуманистический идеал. Точно такая же «конструкция» встречается и в другом знаменитом стихотворении — «Когда за городом, задумчив, я брожу...»

Части разделены даже графически: новый поворот темы заставляет поэта «разбить» строку надвое. Сначала описывается «публичное кладбище» со всеми его отвратительными приметам:

Когда за городом, задумчив, я брожу
И на публичное кладбище захожу,
Решетки, столбики, нарядные гробницы,
Под коими гниют все мертвецы столицы,
В болоте кое-как стесненные рядком,
Как гости жадные за нищенским столом,
Купцов, чиновников усопших мавзолеев,
Дешевого резца пелелые затеи,
Над ними надписи и в прозе и в стихах
О добродетелях, о службе и чинах;
О старом рогаче вдовицы плач амурный,
Ворами со столбов отвищенны урны,
Могилы склизкие, которы также тут
Зеваючи жильцов к себе на утро ждут,—
Такие смутные мне мысли все наводит,
Что злое на меня уныние находит.
Хоть плюнуть да бежать...

Не только жизнь, но и смерть многочисленных «чиновников и купцов» ужасна: стремление к пышности и помпезности — в противовес собственной внутренней пустоте и ничтожности — не оставило их по ту сторону бытия. Первое, с чем сталкивается поэт, — это уродливость мира во всех его проявлениях — и в жизни, и в смерти: «Такие смутные мне мысли все наводит <...> Хоть плюнуть да бежать...»

И все же поэт видит в жизни (и в смерти!) иную, лучшую участь. А потому союз «но» встает решительной преградой отчаянию, несправедному, «злему», улынию:

Но как же люблю мне
Осеннею порой, в вечерней тишине,
В деревне посещать кладбище родовое,
Где дремлют мертвые в торжественном покое.
Там неукрашенным могилам есть простор;
К ним почью темною не лезет бледный вор;
Близ камней вековых, покрытых желтым мохом,
Проходит селянин с молитвой и со вздохом;
На место праздных урн и мелких пирамид,
Безносых гениев, растрепанных харит
Стоит широко дуб над важными гробами,
Колеблясь и шумя...

Да, в бытии есть две стороны — темная и светлая. И никто не может предрешить пути человека — во тьму или к свету, — только он сам, только его совесть, только его нравственное самосознание.

Потому-то в стихотворении и есть лишь две части, показывающие итог двух жизненных установок, и нет никакого «вывода», «правоу-чения».

Этого, кстати, не поняли некоторые интерпретаторы Пушкина. Так, в 1837 году С. П. Шевырев с упреком писал: «...эскиз был стихиею неудержного Пушкина: строгость и полнота формы, доведенной им до высшего совершенства, которую он и унес с собою, как свою тайну, и всегда неполнота и незаконченность идеи в целом — вот его существенные признаки» (Московский наблюдатель. 1837, ч. 12). Но все дело в том, что эти «неполнота и незаконченность» принципиальны. Пушкин оставляет право выбора и право окончательного вывода за самими читателями. Поэт как бы молчаливо призывает: «Иди, куда влечет тебя свободный ум», но помни, что, свободно выбирая, ты принимаешь всю полноту ответственности на самого себя. В этом, наверное, состоят и этический смысл двухчастного построения многих пушкинских стихотворений последних лет, и «мировоззренческая» судьба противительного союза «но» в его поэзии.

Игра словом у Н.С. Лескова

ЧУДО в рассказе "На краю света"

О.Е. МАЙОРОВА,

кандидат филологических наук

«Скучно на этом свете, господа!». Этот грустный итог анекдотических происшествий, рассказанных в гоголевской «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», это тоскливое авторское восклицание не однажды стозвалось в русской литературе. «Вскоре перевели меня на Кавказ <...> Я надеялся, что скука не живет под чеченскими пулями — напрасно <...>, мне стало скучнее прежнего...». Исповедь Печорина, вызывавшая простодушное удивление Максим Максимыча («А все, чай, французы ввели моду скучать?») и довольно лукавый ответ повествователя («Нет, англичане»), не так уж далека от размышлений гоголевского рассказчика о русской жизни: здесь та же «скука», только пережитая существенно иначе. Трагическая интонация Гоголя слышна и в тургеневских «Призраках»: «Сердце во мне медленно перевернулось, и не захотелось мне более глазеть на эти незначительные картины, на эту пошлую выставку...,— думает герой рассказа о виденных им «картинах» действительности.— Да, мне стало скучно — хуже чем скучно».

Этот сквозной мотив русской прозы звучит и в произведениях, хронологически весьма удаленных от Гоголя. «Я не пророк, но заранее знаю, о чем будет речь. Каждое утро одно и то же», — признается герой чеховской «Скучной истории», «заслуженный профессор Николай Иванович такой-то», не испытывающий уже «ничего, кроме скуки и раздражения». Другой чеховский герой, еще молодой человек, говорит, обращаясь к своему ровеснику: «Как вам мягко, уютно, тепло, удобно — и как скучно! Да, бывает убийственно, беспросветно скучно, как в одинокой тюрьме...» (Рассказ неизвестного человека).

Можно привести еще немало сходных примеров. Но заслуживает особого внимания один из них — фрагмент из рассказа Лескова «На краю света»: «Вот и до настоящего русского слова договорился: „скучно“! Скучно, господа...». Эти рассуждения рассказчика, старика-архиерея, касаются самой волнующей писателя в 70-е годы проблемы — «нашей веры и нашего неверия».

Продолжим цитату: «Скучно, господа, тогда было бороться с самодовольным невежеством, терпевшим веру только как политическое средство; зато теперь, может быть, еще скучнее бороться с равнодушием тех, которые (...) „сами насилу веруют...“» (Лесков Н. С. Собр. соч. в 11 тт., М., 1957, т. V, с. 515). При всем конкретном и, казалось бы, довольно узком значении лесковского «скучно» оно явственно перекликается с гоголевским. Не случайно и интонационное соответствие («скучно, господа...»), и сходное — финальное — место этих рассуждений в композиции обоих произведений.

Прозвучавший в повести Гоголя горький приговор жизни органично вплетается и в рассказ Лескова, подытоживая повествование. Тем более органично, что мир Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича — мир праздничный и вместе с тем убогий, заразительно здоровый и удручающе абсурдный — имеет прямое отношение к лесковским героям. Агафья Федосеевна, «та самая, что откусила ухо у заседателя», Иван Никифорович, у которого «шаровары в таких широких складках, что если бы раздуть их, то в них можно поместить весь двор с амбарами и строением», — прямые литературные предки лесковского протоиерея, которому почудилось, что в него «воз сена в середину въехал и не может выехать» (V, 458). Атмосфера трагикомических недоразумений, в которую попадает молодой архиерей в лесковском рассказе, близка анекдотическим происшествиям гоголевской повести. Причем эта отдающая фарсом жизнь и у Лескова, и у Гоголя неожиданно обращивается самой серьезной стороной и открывает свои подлинные глубины. Балаганная неразбериха с трагической подоплекой — так в самом общем плане можно охарактеризовать оба произведения.

Этим, пожалуй, сходство и ограничивается. Но гоголевский смысл слова *скучно* явственно проступил. Лесков заставил читателя ощутить в своем «скучно, господа» особый спектр значений, который восходит к Гоголю и послегоголевской традиции. Вместе с тем обыденный, лежащий на поверхности смысл этого слова тоже не упущен писателем: «скучно по два, по три человека крестить», — говорит архиерей. В этом небольшом фрагменте с наглядностью обнаруживаются излюбленные и хорошо отработанные Лесковым приемы обращения со словом. В его произведениях часто соплагаются, а порой и сталкиваются разные значения, точнее, различные оттенки значений, какого-то опорного слова. В данном случае обыденное, каждодневно употребляемое, с одной стороны, и выражающее авторскую тоску, его общую тревогу и в то же время поддержанное авторитетом литературной традиции —

с другой. Это нарочитое совмещение разнородных смысловых иластов на небольшом пространстве текста можно определить как игру словом, оговорив предварительно, что речь идет вовсе не о самоценной игре. Присмотримся к ней.

«...Я, может быть, не хуже вас знаю все скорби церкви, но справедливость была бы оскорблена...», — говорит Лесковский архиерей, размышляя о проблемах церковной жизни (V, 452; здесь и далее выделено мной. — О. М.). Затем он обращается к некоторым тонкостям иконописания: «... как он эффектно выходит, или, лучше сказать, износится из этой тьмы; за ним ничего <...>, а только тьма ... тьма фантазии» (V, 454). Рассказчик вспоминает свой давний спор «с одним дипломатом, которому этот Христос только и правился; по, впрочем, что же... — подводит он итог, — момент дипломатический» (V, 453). Скорбь и оскорбление, тьма (-мрак) и тьма фантазии (-множество, море фантазии), дипломат и дипломатический (-топкий) момент — все это однокорневые (иногда одни и те же) слова, обросшие или обрастающие в языке разным смыслом. Объединяя их в одной фразе, Лесков не только оттенял очевидное различие, но и обнажал забытое, давно стершееся родство.

Определяя причины, побуждавшие писателя к подобной словесной игре, исследователи справедливо говорят о задаче воссоздания образа персонажа через его речь. И действительно, все приведенные выше примеры, располагаясь в словесной зоне рассказчика, высвечивают его умудренный опытом, сдержанный и чуть скептический взгляд на мир. Однако словесная игра — универсальный повествовательный принцип в лесковском рассказе. Зарождаясь в речи рассказчика, она незаметно выходит из-под его контроля. Архиерей вспоминает события далекого прошлого, постепенно в повествование включаются точки зрения других персонажей, в этом общем ансамбле голосов речевая манера рассказчика отходит на второй план, а словесная игра становится произвольной, как бы независимой от сознания рассказчика, и приобретает самостоятельное (во всяком случае, не только характерологическое) значение. Одновременно сужается и объем словесного материала, подлежащего игре: в основной части рассказа обыгрывается лишь одно слово — «чудо». Настойчивое повторение этого ключевого слова, неизменно сопровождающееся переосмыслением, движущееся соотношение его частных значений, выводимых из контекста диалога или ситуации, подводят читателя к осознанию потенциального, прямо не сформулированного Лесковым его смысла, овладение которым открывает общую концепцию рассказа.

«— Чудесное! — воскликнул кто-то из слушателей...»

— Да, господа, обмолвясь словом, могу его не брать на-

зад: в том, что со мною случилось...— не без чудес...» (V, 456).

Рассказ создавался в пору повального увлечения спиритизмом и проповедью английского «религиозного новатора», как его называл Лесков, лорда Редстока, которому, кстати, и сам писатель отдал немалую дань — но не как адепт, а как пристрастный истолкователь его учения, посвятив Редстоку целую книгу «Великосветский раскол». Не только эта книга, но и рассказы Лескова 70-х годов, в частности, «На краю света», насыщены выпадами против «редстокистов» и спиритов. Так, в приведенной цитате интерес слушателей к чудесному связан не столько с извечной тягой людей к сверхъестественному, сколько с популярностью новомодных религиозных веяний.

Однако старик-архиерей, посмеиваясь над своими слушателями, имеет в виду вовсе не сверхъестественные события. «Чудеса» в начале его воспоминаний — это самые что ни на есть реальные трагикомические несообразности, с которыми ему пришлось столкнуться в Сибири, в «полудикой епархии». Рассказывая о невежестве и грубости сибирского духовенства, архиерей замечает: «За грамотностью дьячков очередь переходит к благочинию семинаристов, и опять начинаются *чудеса*» (V, 457). В этой экспозиции к основным событиям рассказа слово «чудо» звучит иронично — за ним ощутима и смягченная юмором горечь архиерея, и авторская усмешка над падкими на «чудеса» современниками. Однако далее — по мере развития и усложнения сюжета — слово предстает иными своими гранями.

Судьба сводит архиерея со скромным монахом, отцом Кириаком, проявляющим упорное неповиновение распоряжениям владыки. Кириак «всеми любим: и братией, и мирянами, и даже язычниками» (V, 460), но от миссионерства, не объясняя причин, отказывается наотрез, что возбуждает различные толки и в частности мысль о «каком-то откровении», возможно, явившемся Кириаку. «Признаюсь вам,— добавляет рассказчик,— я недобливаю этот ассортимент «слывущих», которые вживе *чудеса* творят и непосредственными откровениями хвалятся» (V, 461). Здесь вновь померенно снижено ключевое в рассказе слово, и тем самым поступки Кириака как бы уравниваются с уже описанными печальными чудесами. Однако теперь иронический тон оказывается неуместным. Кириак как раз противник подобных чудес, он потому и отказался от миссионерства, что не хочет «крестить скорохватом», считая это профанацией чуда: «...я, владыко, робок и свою силу меру знаю...» (V, 462).

Убеждения героя питаются его наивной, полудетской верой в чудесное: «Кто же, владыко, чудес не видел?» (V, 463).

Так в рассказ впервые введена тема подлинного чуда. Прежде всего — чуда бытия. «Куда ни глянь — все чудо...», — говорит Кириак и поясняет, обращаясь к архиерею: «вот мы с тобою прах и пепел, а движемся и мыслим, и то мне чудесно» (V, 464). Слово *чудо* приобретает высокий смысл, и в немалой степени тому способствует особый стилистический контекст, в котором оно отныне живет на страницах рассказа. Вернемся к последней фразе Кириака: «... и то мне чудесно», — говорит он, подразумевая присущее ему ощущение непостижимости и таинственности бытия. Благодаря этому признанию героя в читательском сознании воскрешается древнее, полузабытое значение слова *чудо* — чудо как предмет удивления и прославления. Приведенный пример не единичен. Речь Кириака насыщена библейскими образами, церковнославянизмами, устаревшими синтаксическими конструкциями, передающими возвышенный строй мыслей героя: «из Египта-то языческого я выведу — выведу, а Чермного моря не рассеку и из степи не выведу, и воздвигну простые сердца на ропот к пребиде духа святого» (V, 462). Воздвигнуть сердца на ропот (т. е. вызвать возмущение, возбудить недовольство) — синтаксическая конструкция, почерпнутая из древнерусской книжной культуры (ср.: «воздвиг руце на небо»). Вместе с тем книжная стилистика как-то очень естественно совмещается в языковом сознании Кириака (а вслед за ним — и в речевой стихии рассказа в целом) с просторечием. «Крестить-то они все могучи, — замечает монах, — а обучить слову нѣтяги» (V, 467). «Нѣтяг», по объяснению Даля, — дармоед, неработник, «мужик, на котором нет тягла». Пришло это слово из крестьянского разговорного обихода. Кроме того, речь Кириака пестрит прибаутками, присказками: «А вот куцые одетели, отцы благодетели...» (V, 470); «слово всяко ложь, и я тож» (V, 472). Сочетание разговорной и книжной речи раскрывает своеобразие внутреннего мира героя: простодушие, порой, примитивность его представлений оборачивается высоким строем мыслей, подлинной человеческой глубиной.

Кроме того, поле стилистического напряжения, в котором живет в рассказе слово *чудо*, приближает нас и к лесковскому его пониманию. Для автора «На краю света» чудо — это простое и высокое одновременно; чудесное вовсе не сверхъестественно, оно обычно, в порядке вещей, хотя совсем не часто встречается в жизни; чудо — это элементарные и вечные первоосновы бытия, такие, как вера, доброта, честность; это устойчивые нравственные регуляторы, на которых держится мир, но которые — к великой скорби писателя — почти забыты в цивилизованном обществе и открыты лишь примитивному сознанию. Поданную жаждущему

«горсть воды семь солнц не иссушат» (V, 481) — это «противоречащее» законам природы чудо, символ непреходящего значения добра и любви, подводит к итоговому авторскому пониманию ключевого в рассказе слова. Полностью же его смысл раскрывается в кульминационном эпизоде: прямолинейно мыслящий и, казалось, убогий в своих нравственных представлениях дикарь совершает подлинно гуманные поступки, недостижимые для цивилизованных и просвещенных людей, знакомых с христианской этикой лишь в теории. Дикарь, поначалу отпугнувший архиерея и своим внешним безобразием, и невежеством, в финале рассказа ему «показался прекрасен», представился «очарованным могучим сказочным богатырем» (V, 508). На скудной, как пишет Лесков, почве языческих представлений архиерею, христианскому пастырю, явилось истинное чудо. Это чудо — в природе реальности, изначально заложено в ней.

В самом финале повествования писатель вновь вкладывает в уста своего рассказчика ироничные рассуждения о «заезжих проповедниках»: «Что нам до этих чудодеев?» (V, 516). Ключевое слово низвергнуто с высот, вновь снижено, но теперь этим снижением акцентирован контраст чуда мнимого и подлинного, уже открытого читателю.

Игра словом у Лескова — средство непрямого выражения авторской позиции. Сказанное в первую очередь относится к ключевому в произведении слову. Из пересечения его частных значений постепенно складывается тот особый смысловой спектр, который полнее всего отвечает взглядам писателя. Подобные функции отведены, конечно, не только словесной игре, неотрывной от других форм выявления авторской оценки изображаемого. Ключевое слово у Лескова чаще всего связано с системой повторяющихся мотивов. Ведь мотив чуда в рассказе «На краю света» реализуется, как мы видели, не только при обыгрывании слова, но и на сюжетном уровне. Известная композиционная размытость лесковских произведений компенсируется их лейтмотивной структурой, простейшим компонентом которой выступает настойчиво обыгрываемое ключевое слово.

Авторские переводы А. И. Герцена

Л. Р. ЛАНСКИЙ,

кандидат филологических наук

Герцен свободно владел французским языком...

Статьи и брошюры, предназначавшиеся для западноевропейских читателей, он, живя за рубежом, обычно писал по-французски.

Французский язык в те времена считался языком междонародным.

Почти все переводы Герцена — с русского на французский и с французского на русский — появились в печати еще при его жизни. Остальные же долго оставались в рукописи и только в наше время стали включаться в полные Собрания сочинений писателя.

Мировая демократия XIX столетия знакомилась с трудами Герцена, главным образом, на французском и немецком языках. Его известные книги «О развитии революционных идей в России», «Русский народ и социализм», некоторые статьи и памфлеты читались тогда по-французски даже соотечественниками, так как на русский язык они либо совсем не переводились, либо переводились с запозданием.

При текстологической подготовке тридцатитомного Собрания сочинений Герцена (издававшегося Академией наук СССР в 1954—1965 годах) мне пришлось вплотную заняться изучением ряда французских трудов Герцена и его авторских переводов и при этом убедиться, что в них содержится немало смысловых и стилистических разнотчений. Ориентируясь на иноязычных читателей, Герцен несколько менял содержание, сокращал или же, наоборот, обогащал изложение новыми фактами и мыслями, смещал ракурсы, варьировал средства выражения, тропы, краски...

В этом отчетливо выражалась творческая щедрость его природы.

По несколько утрированному выражению И. С. Тургенева, Герцен писал языком, «до безумия неправильным», но в то же время вызывающим восторг: в его слоге ощущалось «живое

тело». В своих французских сочинениях и авторских переводах он также стремился воплотить средствами французского языка наиболее характерные особенности своей неповторимой и чисто русской стилистической манеры.

И что же! По отзывам французской печати и людей такого масштаба, как Виктор Гюго, историк Жюль Мишле, философы Эдгар Кинэ и Пьер Леру (с которыми Герцен в течение двух десятилетий поддерживал дружеские связи), именно этот носящий печать русского духа и предельно индивидуализированный стиль Герцена, далекий от нормализующих тенденций французского литературного языка XIX века, встречался французами... с восторгом!

Вот что писала в 1857 году одна из французских газет, публикуя на своих страницах отрывок из авторского перевода «Былого и дум»:

«Ознакомившись с печатаемым нами сегодня отрывком — отрывком, переведенным самим автором, наши читатели, так же, как это бывало с нами каждый раз по прочтении чего-нибудь написанного Герценом по-французски, будут удивлены и очарованы, видя, какой оригинальный характер принимает французский язык под этим русским пером; и, отдавая себе отчет в том, насколько автор в своем стиле является одновременно и русским, и французом, они, без сомнения, подумают, какой удачей для французской литературы было бы почаще предоставлять права гражданства таким писателям <...> Мы просим извинения у наших читателей за то, что несколькими своими строками замедлили их наслаждение, и оставляем их наедине с автором, с этими страницами, полными жизни, ума, нежности и той благотворной иронии, которая высмеивает только зло, которая вместо того, чтобы раздражать, пробуждает и просвещает самые великодушные чувства, свойственные человеческой природе» («Литературное наследство», т. 63. М., 1956.— Здесь и далее все переводы с французского сделаны автором публикуемой статьи.— *Ред.*).

Сравнивая оригиналы Герцена с его переводами, то и дело встречаешь новые, ранее не известные суждения, неожиданные повороты мысли, образы, метафоры, оксюмороны. В этой заметке я приведу, разумеется, лишь отдельные свидетельства этого богатого «улова».

Сначала — несколько разрозненных афоризмов из разных сочинений:

«Растения — глухонемые природы».

«Страсть к переменам — добрый гений Франции».

«Культ Французской революции — это первая религия».

молодого русского; и кто ж из нас не обладал портретами Робеспьера и Дантона?..»

«Народ надо изучать не по книгам, а в его хижинах».

«Человек имеет полное право отдаваться, жертвовать собой. Но, по правде говоря, героизм самопожертвования за счет других слишком легок, чтоб являться добродетелью...»

В одном из переводов я обнаружил единственное свидетельство о том, что Герцен лично видел в Берлине (в 1847 году) прусского короля Фридриха Вильгельма II. Здесь же он дает также ранее не известную обобщенную характеристику его и еще двух монархов — папы Пия IX и будущего Наполеона III: «Ничтожествова, принадлежащие к одной и той же семье».

Обратимся теперь к переводу открытого герценовского «Письма к Гарибальди» (1863), обращенного к другу Герцена, известнейшему итальянскому национальному герою. В этом переводе бросается в глаза множество эпитетов, отсутствующих в русском тексте: «почтенный друг», «незыблемое право», «колоссальных застав», «глухой борьбе», «открытую реакцию», «безумный страх» и др.

Вместо «народного моря» — во французском тексте: «неизвестного моря»; вместо «нелепую» — «непомерную»; вместо: «социальную» — «социалистическую»; вместо: «правительственно-го» — «политического» и т. п.

Французский авторский перевод отличается большей детализацией, чем русский текст; отдельные фразеологические элементы в обеих редакциях часто не совпадают. Вместо: «Вы любите массы так, как они есть» — во французском тексте мы читаем: «Вы любите массы, какими их сделала история»; вместо: «вождь слабых, ищущих воли» — «поборника независимости»; вместо: «вершинам» — «верхушкам и вершинам в Зимнем дворце»; вместо: «придворной службе» — «украшенной галунами придворной службе»; вместо «героизма» — «мученичества и героизма»; вместо: «правительство старалось всеми средствами возбудить народную ненависть» — «правительство изощрялось, разжигая самые злобные страсти, какие только может породить исключительный национализм»; вместо: «и отдавало крестьянам конфискованную землю» — «и кончило тем, что экспроприировало большую часть помещиков, чтоб отдать землю крестьянам и привязать их тем к себе» и т. п.

Приведу несколько развернутых высказываний Герцена из его французского перевода «Былого и дум» — о западноевропейской буржуазии, западных религиях и о мелкобуржуазных политических эмигрантах конца 1840—1850-х годов.

«Самый деятельный и могучий класс наших дней — буржуазия, — пишет Герцен о наиболее ненавистном ему сословии

современного общества, — готова предать свои убеждения — преклонить колена без веры пред алтарем, пасть ниц перед тронем, улизнуть перед аристократией, которую она ненавидит, и оплачивать солдат, к которым питает отвращение, быть, наконец, ведомой на цепочке — лишь бы не обрубали веревку, на которой держат толпу.

Лицемерие, свойственное буржуазии, ее учреждениям, правам и установлениям, являлось частым объектом обличений Герцена. Этой излюбленной им теме посвящены и следующие строки:

В буржуазном обществе «жизнь, начиная с домашнего очага и кулинарной экономии до очагов патриотизма и политической экономии, есть не что иное, как ряд оптических обманов. Ни одного простого и ясного представления, чтоб отчетливо видеть в этом тумане, ни одного естественного чувства, оставшегося целым; ни одного вопроса, который не был бы вырван из своей почвы и пересажен в другую». И далее: «Человек проживает свою жизнь, окруженный ужасным шумом, не имея минутки, чтобы поразмыслить, проходит озабоченный и полный беспокойства, не наслаждаясь даже».

Эти строки из перевода «Былого и дум» (глава «Роберт Оуэн»), относящиеся к 1860-м годам, кажутся написанными сегодня: их актуальность поразительна.

Исторический опыт, по убеждению Герцена, которое он выражает в саркастической и несколько парадоксальной форме, доказывает одно: «Человеческий мозг является органом, не дошедшим до состояния полного развития; что он имеет стремление достигнуть его — трудно отрицать; но достигнет ли он его или погибнет на полдороге, как погибали мастодонты и ихтиозавры, или остановится в *status quo*, как мозг существующих животных, — это вопросы, которые нелегко разрешить». «И если они и будут разрешены, — подчеркивает Герцен, — то, конечно, не вследствие сентиментальной и мистической декламации».

Любопытны вписанные далее Герценом в свой французский перевод атеистические по характеру страницы. В рассуждениях об особенностях католической и протестантской религий он особенно подчеркивает невыносимый для жителей Западной Европы протестантизм, представляющий собой в сущности не что иное как «буржуазный католицизм». Распространенное на Западе «идеалистическое ханжество» в физиологии, пытающееся примирить научные основы с религиозными верованиями, вызывает у Герцена особенно резкое осуждение. Он называет это во французском тексте «уступкой, компромиссом между познанной истиной и при-

нятой ложью, между совестью и личными взглядами», «предательством науки» или же «поразительным отклонением диалектики».

Наряду с многочисленными сатирическими штрихами, которыми Герцен в своем авторском переводе характеризует религиозные учения и служителей культа («пустопорожня риторика пастора», «риторическая чепуха какого-нибудь архиеерея» и т. п.), мы встречаем ряд высказываний, выдержанных в той афористической манере, которая была особенно органична для их автора. Углубляя понимание русского текста, высказывания эти в то же время имеют и самостоятельный интерес. Они отчетливо характеризуют философские, социальные и политические воззрения Герцена в начале 1860-х годов.

Беспощадно высказываясь в «Былом и думах» о многочисленных немецких мелкобуржуазных эмигрантах, покинувших родину после революций 1848—1849 годов, он замечает:

«Их язык попахивал академическим „чесноком“ и первыми трагедиями Шиллера; они отличались поразительной неуклюжестью во всем, что относилось к практике, и раздраженным патриотизмом, весьма шовинистическим на свой лад и выступавшим под знаменем космополитизма».

«Реальная жизнь немца,— продолжал он,— в теории, практическая жизнь для него не более, чем атрибут, переплет для скрепления листов,— и именно в этом следует искать причину того, что немцы, самые радикальные люди в своих сочинениях,— остаются очень часто „филистерами“ в частной жизни. По мере освобождения от всего — они освобождаются от практических следствий применения своих учений. Германский ум в революциях — как во всем — схватывает общую идею в ее абсолютном значении, никогда не пытаясь реализовать ее».

В «Письмах из Франции и Италии» Герцен едко рассуждает о консерватизме, обвиняя в нем не только реакционные и ретроградные слои общества, но и по временам самих революционеров, испугавшихся далеко идущих результатов общественного движения. К одной из таких характеристик он добавляет во французском переводе: «Это теория, манера рассматривать вещи, это настоящее, рассматриваемое с точки зрения прошедшего». Консерваторов прежнего времени, еще сохранявших кое-какие положительные достоинства, он противопоставляет современным «гнусным интриганам, которые держатся на поверхности французского общества».

Террористические меры французского правительства периода Июльской монархии, предпринятые для своей защиты от народных низов, вызывают у русского революционного публициста

следующий вывод: «Общество, распадающееся на части, имеет врага в своем сердце, в своей крови».

Говоря о хаосе, о недостатке последовательности в понятиях современного человека, то есть человека XIX столетия, Герцен добавляет в переводе: «Это также следствие полного смещения понятий, к которому мы пришли в результате незавершенных революций и слепых реставраций, в результате непоследовательностей, мелких поправок; это смещение чрезвычайно мешает нам постигнуть всякое ясное, простое, естественное понятие. Это смещение досталось нам как наследство; мы находим его обосновавшимся в нашей душе во имя авторитета. Пробуждение умственных способностей, деятельность мысли парализованы, уклонились со своего пути. Естественная связь человека с внешним миром нарушена. Воспитание делает людей безумными прежде, нежели они успевают приобрести разум».

В русском переводе своей французской полемической статьи об испанском махровом реакционере Донозо Кортесе Герцен опустил следующее исполненное глубокого значения место, восстановлением которого уместно будет заключить эту публикацию:

«Цивилизация античного мира была цивилизацией меньшинства, как и наша. Как и наша, чтобы стать возможной, она нуждалась в антропофагии. Но из этого вовсе не следует, что мы имеем право отдавать предпочтение современному миру, если только предпочтение заключается в этих наименованиях *культуры* и *цивилизации*. Мир, который начался «Илиадой», который произвел Фидия, который выразился в Аристотеле и который, клонясь к упадку, заканчивал свое прекрасное существование Горацием, был очень культурен и очень цивилизован. Г-н Кортес даже не заметил, что своим собственным утверждением, будто единственным источником нашей цивилизации является христианство, он признал его исторический, то есть временный характер». По мнению Герцена, Донозо Кортес далек был от того, чтоб «увидеть утреннюю зарю нового дня, цивилизации, гораздо более гуманной, чем цивилизация христианская...»

Под этой «гораздо более гуманной цивилизацией» Герцен, совершенно очевидно, имел в виду социализм...

Крылатая фраза
М.Е.Салтыкова-Щедрина
„Чего изволите?“

Л.А. ГЛАДЫШЕВА

Штворчество М. Е. Салтыкова-Щедрина, проникнутое духом освободительных и социалистических идей, демократизма и непримиримой борьбы с самодержавно-крепостническим строем, имело огромное значение для русского общества. Оно способствовало воспитанию в нем политического сознания и протеста, обогатило русскую литературу произведениями высокой художественной и публицистической ценности.

Беспощадному обличению и осмеянию на страницах революционно-демократической публицистики и художественной литературы подвергалась буржуазно-помещичья газета «Новое Время», которая в разное время принадлежала разным издателям и неоднократно меняла свое политическое направление. Газета эта начала выходить в 1868 году как бесцветно консервативное издание, пока в 1876 году не перешла в руки А. С. Суворина, который ненадолго придал ей умеренно либеральный характер. Но уже в 1877 году, в связи с началом русско-турецкой войны она превратилась в откровенно реакционный орган печати, угождающий вкусам мещанской публики, лакействующий перед придворными кругами, пропагандирующий национализм и великодержавный шовинизм и потому пользующийся постоянным покровительством правительства.

Вот почему великий сатирик революционно-демократического лагеря Салтыков-Щедрин избрал для своей меткой, точной, презрительной характеристики «Нового Времени» устойчивый оборот лакейского жаргона *Чего изволите?*, отражающий психологию готовности, услужливости и рабского повиновения, навеки запечатлев этим наименованием угодливую беспринципность продажной газеты.

Наделив лакейскую фразу сатирически мотивированной функцией, Щедрин, по существу, создал свою, принципиально новую речевую единицу, к которой он обращался неоднократно.

Наиболее ярким и характерным примером такого обращения можно считать отрывок из 4-й главы его цикла «В среде умеренности и аккуратности», посвященной литературному молчалинству:

«Как я уже не раз говорил, Молчалины отнюдь не представляют исключительной особенности чиновничества. Они кишат везде..., и в известные исторические моменты Молчалины должны во всех профессиях составлять не особенно яркий и не особенно полезный, по тем не менее, несомненно, преобладающий элемент.

По-видимому, литературе, по самому характеру ее образовательного призвания, должен бы быть чужд этот элемент, а между тем мы видим, что молчалинство не только проникло в нее, но и в значительной мере прижилось. В особенности же угрожающие размеры приняло развитие литературного молчалинства с тех пор, как по условиям времени главные роли в литературном деле заняли не литераторы, а менялы и прохвосты...

С литературным Молчалиным меня познакомил тот же самый Алексей Степаныч, о котором я уже беседовал с читателем. В одну из минут откровенности, излагая мартиролог Молчалиных-чиновников, он сказал в заключение:

— Да тезка мой, тоже из рода Молчалиных... Только я — чиновник, а он — журналист, газету «Чего изволите?» издает. Да, на беду, и газету-то либеральную. Так ведь он день и ночь словно в котле кипит: все старается, как бы ему в мысль попасть, а кому в мысль и в какую мысль,— и сам того не ведает» (Н. Щедрин (М. Е. Салтыков). Собрание сочинений. «Правда», М., 1951, т. 7, с. 316—317).

Время подтвердило историческую правоту Щедрина и его блестящей сатирической формулы: после революции 1905 года газета стала органом черносотенцев, а затем, просуществовав до 1917 года, пользовалась поддержкой Временного правительства, являлась рупором контрреволюции и была закрыта Военно-революционным комитетом при Петроградском совете 26 октября (8 ноября) 1917 года.

В. И. Ленин крайне отрицательно относился к «Новому Времени». В своих работах он резко критиковал эту газету за ее «беспардонное лакейство» (Ленин В. И. Полн. собр. соч. т. 22, с. 44), «хамское усердие» (т. 21, с. 411), «бесстыдную наглость крепостников, обнимающуюся впотьмах с бесстыдной продажностью буржуазии» (т. 25, с. 8). На страницах ленинских трудов неоднократно встречаются резкие обличительные характеристики «Нового Времени»: архиблагонамеренная, всегда угодничающая перед начальством газета, орган черносотенцев, верно служащая правительству газета, газета, без лести преданная правительству, подхалимское

«Новое Время», газета черносотенных помещиков и октябристских купцов, газета капиталистов. С презрением отзывался В. И. Ленин и о сотрудниках газеты — «нововременцах»: наши полицейские мудрецы, профессиональные предатели, воры, публичные мужчины, продажные писатели и т. д.

Помощниками В. И. Ленина в борьбе против продажной буржуазной газеты были видные деятели большевистской печати. Так, в своей статье «Поход против М. Горького» критик-большевик М. С. Ольминский вскрывает реальное классовое содержание «Нового Времени»: «Газета, всегда держащая нос по ветру, чтобы угодить самодержавному правительству и крупной буржуазии» (Ольминский М. По вопросам литературы. Л., 1926, с. 19). Профессиональный революционер и выдающийся партийный публицист В. В. Воровский называл суворинскую газету в числе сторонников войны с Японией, несущей неисчислимые бедствия народу: «это — капиталисты, кучка высших чиновников, придворных во главе с парем... вместе с лакействующими перед ними газетами, вроде «Нового Времени», «Московских ведомостей», «Гражданина», «Дружеских речей» и им подобных» (Воровский В. В. Статьи и материалы по вопросам внешней политики. М., 1959, с. 54).

Большой интерес в этом плане представляют публицистические выступления М. Горького. Протестующий голос пролетарского писателя гневно обличал и официозную прессу, и общественность, примирившуюся с ней: «Это, разумеется, непорядочно, это даже лживо, но «Новому Времени» нет дела до порядочности и правды ... Только в обществе, глубоко индифферентном к вопросам морали, возможны явления, подобные «Новому Времени» и «Наблюдателю». Если мы не хотим сказать «цыц!» сочинителям из этих литературных вертепов, значит — эти люди приятны нам и грязь, разводимая ими в жизни, не возмущает нас» (Горький М. О печати. Госполитиздат. М., 1962, с. 40).

Страницы публицистики А. Влока сохранили и допели до нас мнение еще одного современника суворинской газеты, выразившего возмущение и протест против ее антинародной направленности и развращающего влияния: «Рядом с верными мыслями журналисты опять и опять проявляют такое ужасное неверие, такое незнание народа, такую безгливость и такой цинизм, что за интеллигенцию русскую опять становится страшно. Разумеется, рекорд цинизма побивает, как всегда, «Новое Время», десятки лет успешно развращавшее русскую молодежь» (Блок А. Искусство и революция. М., 1979, с. 183).

Весьма примечателен тот факт, что и в новых условиях классовой борьбы революционная публицистика в качестве отлич-

ного стилистического средства обличения реакционной печати слова взяла на вооружение испытанную острую форму революционно-демократической сатиры — словесную находку Щедрина «Чего изволите?»

«„Новое Время“ Суворина, — писал В. И. Ленин в 1912 году, — на много десятилетий закрепило за собой это прозвище „Чего изволите?“. Эта газета стала в России образцом продажных газет. „Нововременство“ стало выражением, однозначным с понятиями: отступничество, ренегатство, подхалимство. „Новое Время“ Суворина — образец бойкой торговли „на вынос и распивочно“. Здесь торгуют всем, начиная от политических убеждений и кончая порнографическими объявлениями» (т. 22, с. 44).

В статье В. И. Ленина «Карьера» содержится уничтожающая, презрительная характеристика издателя «Нового Времени» Суворина, деятельность которого рассматривается как наглядный и убедительный пример буржуазного перерождения русской либеральной интеллигенции: «Либеральный журналист Суворин во время второго демократического подъема в России (конец 70-х годов XIX века) повернул к национализму, к шовинизму, к беспардонному лакейству перед властью имущими. Русско-турецкая война помогла этому карьеристу „найти себя“ и найти свою дорожку лакея, награждаемого громадными доходами его газеты „Чего изволите?“» (там же).

В то же время В. И. Ленин подвергает крылатую фразу Щедрина расширенному истолкованию, используя ее сатирическую экспрессию в полемике с другими органами враждебной прессы. Так, обличая экономистов, Ленин пишет об их журнале «Рабочее Дело» и газете «Рабочая Мысль»: «Я не я, лошадь не моя, я не извозчик. Мы не „экономисты“, „Раб. Мысль“ не „экономизм“, в России нет вообще „экономизма“. Это — замечательно ловкий и „политичный“ прием, имеющий только то маленькое неудобство, что органы, его практикующие, принято называть кличкой: „чего изволите?“» (т. 6, с. 96).

Первоначальный смысловой объем сатирической формулы Щедрина еще более расширяется и усложняется в работах В. И. Ленина, обличающих политических противников большевистской партии — либеральную буржуазию, кадетскую партию, ликвидаторов.

«Возьмем программу либеральной буржуазии, т. е. кадетскую, — читаем мы в статье В. И. Ленина „Аграрная программа социал-демократии в первой русской революции 1905—1907 годов“. — Верные девизу: „чего изволите?“» (т. е. чего изволят господа помещики), они и в первой Думе выдвинули одну, во второй —

другую программу. Смена программ — для них такое же легкое и незаметное дело, как для всех европейских беспринципных карьеристов буржуазии» (т. 16, с. 220).

В расширенном, переносном значении крылатое определение Щедрина представлено и в публицистике В. Воровского, обличавшего беспринципность журнала «Образование» и других органов этого типа журналистики, приладившихся к реакции после революции 1905 года: «Разухабистая, крикливая, наглая, с синяком под глазом, в заломленном на затылок помятом цилиндре, шла „понеделничная“ пресса, разрешая развязным жестом вопросы политики, социального быта, этики, литературы, искусства — и все это с кондачка, всё с апломбом, не допускающим возражений... Люди, имевшие хоть какие-нибудь политические, философские или религиозные убеждения, постепенно отталкивались от участия в нелепом винегрете „Чего изволите-с?“» (Воровский В. В. Эстетика. Литература. Искусство. М., 1975, с. 206—207).

Продолжая традиции большевистской печати, современная советская публицистика активно использует обличительную формулу классика русской сатиры.

Утратив связь с конкретно-историческими реальностями, его породившими, сатирический фразеологизм Щедрина сохранился в боевых арсеналах злободневной публицистической речи как действенное средство разоблачения капиталистического строя.

Современные публицисты нередко черпают у Салтыкова-Щедрина безжалостно правдивые слова для обрисовки истинного положения трудящихся в воспеваемом империалистической пропагандой пресловутом «обществе всеобщего потребления», порабащившем миллионные массы и разъедающем их сознание: «Все можно и все в рассрочку. Но после этого бюджет семьи скрупулезно рассчитывается на долгие годы вперед: людям приходится ужимать себя в еде до минимума, чтобы в сроки уплачивать взносы. Отсюда — появление рабской идеологии: „Чего изволите?“, „Сделаю все, что будет приказано“» (Лит. газета, 1970, 23 дек.).

Формула Щедрина приложима и к произведениям западноевропейской драматургии, раскрывающим тему попорченного человеческого достоинства в капиталистическом мире. Так, в рецензии на спектакль Дюссельдорфского драматического театра по пьесе Бертольда Брехта читаем: «...Каждый говорит не глядя на другого — поработченность сказывается и в полной разобщенности, в какой-то особой апатии, неспособности к контакту — при этом каждый на свой лад клянет хозяина: наступил кризис, ресторан пустует, и хозяин все бесцеремоннее помыкает слугами... При виде

хозяина каждый, однако, становится в позу „чего изволите?“» (Театральная жизнь, 1984, № 17).

В то же время общеизвестная крылатая формула может употребляться и в иной публицистической функции: как элемент положительной характеристики современного советского человека, творца новой жизни, категорически не приемлящего обывательской жизненной позиции, сформулированной в словах *Чего изволите?*

Это общее для всех советских тружеников презрение к молчалинской морали раскрывается в современной прессе на конкретных судьбах, поступках, суждениях людей разных профессий, возрастов и социальных категорий. Например: «Я называл район за районом, фамилию за фамилией, людей смелых, не дрогнувших в обстановке бесконечных перестроек, действовавших не по принципу «чего изволите?», а так, как диктовали им местные условия, наука, опыт» (Лит. газета, 1965, 17 апр.); «Жданов — человек самостоятельных суждений и действий, он никогда не держит в запасе елейного «чего изволите?», он ведет дело по строгим принципам хозяйственного расчета, коллективного подряда, много строит, но в должниках у государства не ходит» (Советская Россия, 1983, 14 апр.); «Потом еще вот что скажу: прокурор каждый день сдает экзамен на мужество. Он ведь следит и за тем, как должностные лица закон соблюдают. Любые, какой бы пост ни занимали. Для прокурора никаких «постов» нет и быть не может, есть только закон... Иначе поплывешь по течению, и ты уже не прокурор, а „чего изволите?“» (Лит. газета, 1981, 11 февраля).

Удивительно интересна и сложна история крылатых слов, оторвавшихся от первоначального контекста и начавших вторую, самостоятельную жизнь в системе речевых средств публицистической выразительности: созданные на материале разговорно-бытовой лексики одной из самых униженных социальных групп дореволюционной России, выросшие затем под пером мастера резолюционно-демократической сатиры в большое социально-политическое обобщение, ставшие одной из излюбленных сатирических формул великого вождя пролетарской революции, они и теперь, по прошествии целого столетия, не утратили своей значимости и действенности.

Н. А. Добролюбов о русском языке

Н. А. Добролюбов — филолог по образованию. Еще в студенческие годы, будучи любимым учеником И. И. Срезневского, он написал несколько лингвистических работ, среди них «О поэтических особенностях великорусской народной поэзии в выражениях и оборотах», «Замечания о слоге и мерности народного языка» и др. Позднее в своих критических статьях Н. А. Добролюбов резко выступал против вычурности, фразерства в литературном творчестве, схоластики и формализма в преподавании русского языка, отстаивал идеи народности языка в противовес славянофильско-романтическим теориям в области его истории.

Воспроизводя строки из работ Н. А. Добролюбова, написанные более 100 лет назад, хочется обратить внимание на их актуальность, современность. Они представляют несомненный интерес и для сегодняшнего читателя.

О поэтических особенностях великорусской народной поэзии в выражениях и оборотах

Имея намерение собирать только поэтические особенности языка, я не должен, следовательно, касаться ни лингвистических особенностей в народной поэзии, ни исторического элемента, ни народной философии с различными отраслями знаний... Но — развитие языка так тесно связано с развитием народа, в народной поэзии так многое зависит от степени силы и изобразительности языка, что во многих местах необходимы будут замечания, относящиеся чисто к истории языка... С другой стороны — на язык так много ложится черт истории и быта народного, произведения народной словесности заключают в себе столько исторических преданий, в них так отражается мирозерцание народа, его быт, степень его

образованности, что необходимо будет касаться и этих предметов, насколько они выразились в народной словесности. Без этого работа моя не имела бы никакого приложения, была бы слишком скучна, холодна, безжизненна... Впрочем, чтобы не заноситься далеко в своих соображениях, я буду удерживаться от скороспелых заключений и стараться только поставить на вид факты.

Какие же факты может представить внешнее выражение народной поэзии? Разбирая внимательно наши песни, сказки и пр., нельзя не заметить, что в них народ создал себе некоторый особенный способ выражения, которого придерживается более или менее неизменно и постоянно. Здесь находим мы обороты и фразы как бы условные, всегда одинаково употребляющиеся в данном случае. Из рода в род, по всей обширной Руси, переходят заретные формы, и в отношении к ним твердо держится русский человек пословицы, что «из песни слова не выкинешь». Каким-то чутьем знает он, что море должно быть синее, поле — чистое, сад — зеленый, мать-земля — сырая; никогда не сшибается он в синонимах и неизменно верно скажет: красно солнышко, светел месяц, яркие звезды... Ясный сокол, белая лебедь, серая утка, черный соболь, гнедой тур, серый волк, добрый конь, лютая змея — это выражения нераздельные... Как будто неловко слову в песне без своего постоянного эпитета! Но кроме того — эти всегда одинаковые сравнения, положительные и отрицательные, эти условные меры величин и времени, эти обычные обращения к неодушевленным предметам, эти выражения, показывающие верование в сочувствие с нами внешней природы, эта чувственность в изображении отвлеченных понятий — все эти явления стоят того, чтобы обратить на них внимание, собрать их и разобрать их смысл и значение. Может быть, некоторые из них идут еще от того незапамятного периода, когда народ, в своем первоначальном возрасте, с своими младенческими воззрениями, находясь еще совершенно под влиянием внешней природы, от всей души верил и сочувствовал тому, о чем теперь говорит и поет часто бессознательно... Другие, может быть, объяснят нам некоторые черты древнего исторического быта Руси, покажут, как смотрел на предметы народ наш, чему он верил, что любил, в чем полагал благо и счастье...

Замечания о слоге и мерности народного языка

Чем более распространялось и утверждалось в книжном языке влияние церковнославянского наречия, тем более народный язык отдалялся от него, так что с XIII—XIV ст. можно рассматривать народную речь отдельно от книжной. Это отделение преимущественно заметно в русском языке, который, по особенной близости своей к церковнославянскому наречию, всего более подвергся его влиянию. Народный язык славянский имеет свою богатую литературу, по преимуществу поэтическую, и в этих произведениях можно наблюдать развитие народной речи и отличительные черты народного слога. Черты эти отдельны для слога простого и для слога поэтического.

В простом слове язык отличается своею простотою и непринужденностью, в противоположность книжной искусственности. В словосочинении и особенно в словорасположении здесь гораздо более свободы, нет того старания стиснуть речь в длинный, связный период, как было в книжной литературе. Повествование идет стройно, спокойно, связь поддерживается союзами, поезде мысль выражается полными предложениями: все сокращения, вроде деепричастий, самостоятельных падежей и т. п., избегаются. Даже причастия большею частью заменяются глаголами с местоимением или союзом. В построении речи замечаем более естественности и ясности: редки вводные предложения, вставляемые для пояснения, редко отделение определяющих слов от определяемых и зависящих от управляющих. В речи философской господствует та же простота и краткость предложений. Народная мудрость высказывается обыкновенно афористически, и никогда не прибегает к форме силлогизма, столь любимой книжниками. В ее речи замечаем также более живости и образности, нередко она выражает свою мысль намеком или удачным принословием. Самые отвлеченные понятия обрисовываются нередко по впечатлению и представляются в образе. Заимствование слов из других языков весьма слабое, и почти невозможно встретить в народном языке бессмысленный перевод иностранных слов буквально (вроде, напр., междометие, отвлеченный).

Но всего резче отличается народная речь от книжной в поэтических произведениях. Здесь уже в самом выборе слов значительная разница. Как в книжном языке много есть слов для выражений высших понятий, религиозных и общественных, которых не знает народ, так, напротив, в народной речи находим множество слов, обозначающих предметы общежития, которых никогда не признавал язык книжный. Народная поэзия не стеснялась правилами школьных риторик и пиитик о высоком слоге, для нее все слова были хороши, только бы они точно и ясно обозначали предмет. Она вносит в свои изображения и конские копыта, и япончицы, и кожухи, и болота, и грязивые места («Слово о полку Игореве»), и желчь, разливающуюся в утробе от гнева, и рев рассерженного человека, и разложено оконце в доме («Песня о суде Любуши»), даже подворотню рыбий зуб — пробои булатные, подики кирпичные, помелечко мочальное (Кирша Данилов). Она не боялась называть предмет своим именем; и потому в ней находим множество названий таких предметов, о которых в книгах даже совсем никогда не говорится из опасения употребить неприличное выражение. При этом видим мы полное господство народных форм над книжными. Напр., в русской народной поэзии господствует полногласие и употребление слов русских там, где в книгах ставятся славянские. Нужно также заметить и изобилие уменьшительных форм в народной поэзии, весьма много способствующих живости изображения.

Подбор слов также имеет здесь свои особенности, происходящие опять от той же безыскусственности и стремления к изобразительности и живости впечатления. Весьма часто одна мысль выражается в двух видах; как бы недовольный одной фразой, народ повторяет ее с прибавлением другого определения, нередко усиливая слово другим, имеющим почти то же значение. «Высота ли, высота поднебесная», — начинаются песни Кирши Данилова... И в них беспрестанно встречаем такого рода выражения: из-за моря, моря синего; по дороге камни, по яхонту; идет во GRIDню, во светлую; от славного гостя, богатого; она с вечера трудна, больна, со полуночи недужна вся и пр. Много подобных примеров также и в чешской поэзии. Нередко также встречается и такой способ выражения: сначала высказывается общее понятие, а потом берутся частности, напр., в зеленом саду, в вишенье в орешенье. Далее встре-

чаем некоторые соединения слов, постоянно повторяющихся, напр.: золото-серебро, гусей-лебедей и пр. Также есть одинаковые условные фразы для обозначения того или другого понятия, того или другого предмета, напр., неоднократно встречаем: земля кровью была полита, костями посеяна; бились три дня, три часа и три минуточки; между плеч кося сажень, палица в триста пуд и пр. Конечно, народ руководствовался чем-нибудь, подбирая такие образы или слова для означения даже таких простых понятий, как измерение места и времени; и, может быть, при собрании большего количества данных, нам удастся уяснить себе миросозерцание народа, выразившееся таким образом в его поэзии.



Периодическая речь решительно не допускается в поэтической речи. Краткие предложения везде заменяют ее. Нечто подобное строю периода можно видеть разве в тех местах, где встречаются сравнения. Но и сравнения весьма редко имеют правильную грамматическую форму, т. е. посредством союза *как*. Обыкновеннее всего название предмета именем другого, напр.: ясный сокол добрый молодец, конь под ним лютый зверь и пр.; иногда сравнение развивается в целой картине, в целой параллели сходных представлений. Но чаще всего — сравнение отрицательное, до сих пор столь распространенное в наших песнях, которые часто им и начинаются.

В числе особенностей народного слога нужно отметить еще постоянные эпитеты. Между ними особенное внимание нужно обратить на те, которыми характеризуются предметы природы. Напр., постоянно читаем мы: море синее, сад зеленый, мать сыра земля, темный лес, чисто поле, также — красна девица, добрый молодец, буйная голова, белые руки, резвы ноги; лютый зверь, ясный сокол, белый кречет, гнедой тур, добрый конь и пр. Заме-

чительно, что народ в этих определениях никогда не смешивает понятий даже синонимически и с неизменной верностью говорит, напр., красно солнце, светел месяц, яркие звезды, или зелено вино, брага хмельная, пиво крепкое.

Кроме этих эпитетов, показывающих воззрение народа на природу, нельзя оставить без внимания других, в которых отразились понятия его об отношениях житейских и общественных. Таковы, напр., описания разных хором, с их принадлежностями — воротами валящатыми, верями хрустальными, тыном железным, окошечками косящатыми, столами белодубовыми и пр. Описания одежды — кафтанов хрущатой камки, одеял соболиных, шуб барсовых, сапожков сафьянных; описания вооружения — тугих луков, шелковых тетив, булатных мечей, острых копий, каленых стрел, золотых шеломов и пр. Повторяясь постоянно, эти названия должны занять наше любопытство, тем более, что подобные постоянные эпитеты суть общая принадлежность всякой народной поэзии и, след., могут служить безошибочным указанием на особенности миросозерцания народа.

В народной поэзии встречаются также нередко выражения, которые сохранились потом в устах народа как поговорки. Это или правило народной мудрости в нескольких словах (т. е. собственно пословицы), или удачно схваченное изображение предмета, его характеристика, которая потом осталась за ним навсегда и прилагается к целому ряду однородных предметов. Таких выражений много находим в слове Даниила Заточника.

Русская сатира в век Екатерины

Искусство говорить слова для слов всегда возбуждало великое восхищение в людях, которым нечего делать. Но такое восхищение не всегда может быть оправдано. Конечно, и звук, как всё на свете, имеет право на «самостоятельное существование» и, доходя до высокой степени прелести и силы, может восхищать сам собою, независимо от того, что им выражается. Так, нас может пленять соловьиное пение, смысла которого мы не понимаем, итальянская опера, которую обыкновенно понимаем еще меньше, и т. п. Но, в большинстве случаев, звук занимает нас только как знак, как выражение идеи. Вос-

хищаться в официальном отчете его слогом или в профессорской лекции — ее звучностью означает крайнюю одно-сторонность и ограниченность, близкую к идиотству. Вот почему, как только литература перестает быть праздною забавою, вопросы о красотах слога, о трудных рифмах, о звукоподражательных фразах и т. п. становятся на второй план: общее внимание привлекается содержанием того, что пишется, а не внешнюю форму. Таким образом, красивенькие описания, звучные дифирамбы и всякого рода общие места исчезают пред произведениями, в которых развивается общественное содержание.

ВЫСОКОПАРНОМУ УЧЕНОМУ

Ты хочешь ум свой показать
В высокопарном разговоре,
Но можно ль что-нибудь понять
В мудреном слов твоих наборе?..
И как же смертные узнают —
Ты всех умней, иль всех глупей,
Коль ничего не понимают
Из темных всех твоих речей?..

Глагольная метафора в повести В. Астафьева „Последний поклон“

Е.З. ТАРЛАНОВ

Книга «Последний поклон» создавалась В. П. Астафьевым двадцать лет (1957—1977). Память сердца — это то, что объединяет ряд сюжетных новелл в единый «Последний поклон», посвященный бабушке писателя Екатерине Петровне. Автобиографичность, свойственная прозе В. Астафьева, служит здесь основой повествования о жизни обыкновенной сибирской деревни — родины маленького Витьки. Астафьев обращается к своему далекому сиротскому детству — ко времени, когда закладывался прочный нравственный фундамент нового поколения.

В «Последнем поклоне», как и в других произведениях В. Астафьева, проявляется необыкновенное пейзажное мастерство писателя, вырастающее из великоленного знания им родной сибирской природы. Его пейзаж почти всегда согласован с душевным состоянием человека. То удивительное видение мира, которое он дарит читателю, порождает ощущение вечности и незыблемости, покоя и мира, чувство сопричастности первозданной красоте и гармонии бытия.

Проведший детство на берегах великих сибирских рек, писатель посвящает им множество образных строк. Могучая сибирская река унодобляется гигантскому фантастическому существу: «Сыто заурчал под быком, Енисей бежит к морю, океану, бунтующий, неукротимый, все на пути сметающий».

Для В. Астафьева чрезвычайно характерна метафоризация движения водной стихии, описание ее «человеческими категориями»: «ворчит река... буйствует, пьяная от половодья»; «...прибежала речка к Енисею, споткнулась о его большую воду и, как слишком уж расшумевшееся дитя, пристыженно смолкла».

Туман в художественном изображении писателя тоже сродни живому существу: он может «прижиматься к земле», «украдливо ползти ... в сонное предутрие», «уютно дремать в распадке», и «тихо умирать» в синей дали реки.

Многие природные явления В. Астафьев олицетворяет, уподобляя необузданному поведению живых существ, в особенности диких зверей: «*Шумела... злобно река*»; «Внизу мощно *ревел* Караульный бык. *Разъяренная вода кипела под ним*»; «Из распадков вырываются *рычащие, взбесившиеся* весенние речки»; «Но тут же белесое пятно [льдина — Е. Т.] возникало во тьме, надвигалось, резало, подминало кусты, утыкалось в глину, *чавкало, жевало* и, словно *обожравшись*, разламывалось...»

Осень, ночь, стужа в поэтическом мироощущении автора наделены «укротительными» качествами: «...Как бы ни была крута осень..., она никогда не может разом и везде *усмирить* Енисей»; «*Смирилась* природа с зимою»; «...в небе студеная, *оцепенела* луна».

Однако олицетворение — не единственный путь метафорического изображения явлений и состояний природы. Иногда, напротив, метафора вырастает из своеобразного опредмечивания их. При этом благодатный материал для поэтизации окружающего мира писатель берет из крестьянского быта: «Зарю *притворило* до утра, будто светящееся окно ставнями»; «Ветер *раскуделивал* их [снега — Е. Т.], *прял* над самой дорожкой, *скручивал* в веретье»; «волоконистой куделею *затянуло* село, огороды и палисадники».

С помощью глаголов конкретно-обыденного действия рисуются и атмосферные явления: «Но светом и теплом все шире разливающегося утра тоньше и тоньше *раскатывало* туманы, *скручивало* их валами в распадках, *загоняло* в потайную дрему тайги». При этом В. Астафьев широко использует морфологические возможности глагола, метафоризируя безличные глагольные формы: «Над Енисеем солнечно *мерцало*»; «... Лодку *поросило* *развернуть* и *хрястнуть* обо что-нибудь».

В нескольких случаях эстетическое приращение смысла создается за счет уподобления природных явлений первозданным стихиям огня, при этом уподобление огню создается ассоциацией с разными стадиями горения. Ср.: «...и вдруг навстречу из-за дальних увалов *полоснуло* ярким светом, празднично заискрилось»; «Упрямо, не по-осеннему, *тлела* полоска зари»; «Сидним дымком сзади нее *выкуривался* из камней ключ». Очень часто яркий цвет (желтый, красный, оранжевый) является для писателя основой ассоциации растений со стихией огня: «...дотронулся до *раскаленных*, но не *обжигающих* руку, саранок»; «...вся опушка палом *горела*, захлестнутая жарками»; «В росистой траве *загорались* от солнца красные огоньки земляники»; «В той самой кринке... *полыхал* огромный букет алых горных

саранок с загнутыми лепестками»; «...Жарки тут, на солнцепеке, уже *сорили* по ветру *отгаром* лепестков». Такое широкое употребление поэтических образов, связанных с горением, по-видимому, объясняется тем, что художник следует традициям народной эстетики, рисуя картину праздника природы, очищающую, радостную и буйную стихию лета, символ которой — огонь.

Некоторые глагольные метафоры В. Астафьева вызывают ассоциации со стихией воды: «...все было *залито* разноцветной волнистой зеленью густеющих хлебов»; «Гуще *потекли* с берез листья»; «...и они [цветы.— Е. Т.] тоже возникали из тьмы, тянулись к свету, к теплу, *обрызгивали* окна и наш дом цветами».

Особенно высокой способностью сочетаться с метафорическими глаголами обладают различные названия растительного царства: цветы (жарки, саранки, подорожник, ромашки, дикie пионы, пучки-купыри, морковники и др.), травы, деревья, которые хорошо знает и любит писатель. При этом он использует одушевление как основной вид ассоциации, как бы приподнимаемая эти живые существа на ранг выше, приписывая им эмоции животных или даже человека: «не будь дерево такое большое, оно давно бы умерло, но это еще *жило*, трудно, с маетою, но *жило*, добывая опаханными корнями пропитание из земли и при этом еще *давало приют* муравьям, мышкам, птицам, жукам, метлякам и всякой другой живности». Дерево у В. Астафьева умеет *стонать* и *плакать*», *жаловаться* «деревянному, нескончаемо длинным плачем, идущим по корням из земли»; «...всякая былка тут зеленела, ... *не задыхаясь* дорожной пылью»; цветы «улыбаются».

В. Астафьев, выросший среди природы и теперь ее воспевающий, часто подмечает самые, казалось бы, бытовые детали в жизни растений, находя в них аналогию человеческим действиям и состояниям: «Напуста уж так *опилась*, такие вилки закрутила, что больше ей ничего *не хочется*»; подобно уставшему косарю, «осинник *сомлел* от жары».

Убежденный в целесообразности и мудрости всего, что происходит в живой природе, автор часто приписывает растениям свойства собственно человеческого сознания — способность к принятию решений, желания: «Луковица — .. терпеливо *дождалась* весны, чтоб... *порадовать* людей надеждами на близкое лето»; «Подорожник *набирался* сил, чтоб *засветить* свою серельковую свечку...»; «...красоднев... *ждал* своего часа, чтобы *развесить* по окраинам полей желтые граммофоны».

Чаще всего в художественной прозе В. Астафьева

сам метафорический глагол является центром образности, экспрессии, которая, распространяясь, вызывает метафоризацию более широкого отрезка речи, то есть одна метафора порождает другую, согласованную с ней. Ср.: «...Ромашки *приморщили* белые ресницы на желтых зрачках»; «На окне, в старом чугушке, возле замерзшего стекла, над черной землей висел и *улыбался* яркогубый цветок... и как бы *говорил* младенчески-радостным тротом: „Ну вот и я! Дождались?“»

В отличие от названий растений, наименования животных в астафьевском повествовании меньше участвуют в метафоризации. Животный мир тесно и непосредственно связан с жизненной практикой жителей сибирской тайги, неутомимых скотоводов, земледельцев, охотников. Поэтому он представляет собой не столько фон действия повести, сколько участников этого действия, к которым автор относится с подчеркнутым уважением: «Каждая пичуга, каждая мошка, блошка, муравьишко *заняты делом*»; старенький конь Ястреб *кунается*, и ребята усердно трут его «прогнутую, трудовыми мозолями, покрытую спину, шею, грудь».

Чем выше описываемое В. Астафьевым явление природы по своему развитию, тем большая способность к психическому восприятию действительности предоставляется ему автором: если растения в его художественном изображении *радуются*, *плачут* или *улыбаются*, то животные уже способны *думать*. Разумеется, маленький герой Витька прекрасно понимает своих «младших собратьев»: «Сидел я на яру, спустив ноги, и пяткой упирался в стрижиновую норку. Стриж налетал на меня, *просился* домой...»; «...возле лужицы, с ладошку величиной, *сидела* большая лягуха *в скорбном молчании* и *думала*, куда ей теперь деваться. В Мане... вода быстрая — опрокинет кверху брюхом и унесет. Болото есть, но оно далеко — *пропадешь*, пока допрыгаешь».

В подборе глагольных метафор, «очеловечивающих» представителей животного мира, В. Астафьеву часто удается передать свежесть и остроту детского восприятия любознательного деревенского мальчика, познающего окружающее: «Одна ласточка недовольна чем-то, *говорит-говорит* и *вскрикивает*, как тетка Авдотья на девок своих, когда те с гулянья домой являются...»; «...над трубою ночами по-пьяному *хохотал* филин».

Созданию поэтических картин природы способствует глубокая наблюдательность писателя, его редкое умение подметить «человеческие» свойства у природы, тесную взаимосвязь человека с окружающим миром.

„Воздушной арфы лёгкий звон“

Т.Р. СТЕПАНИН

Русский язык богат такими сочетаниями слов, которые, на первый взгляд, могут показаться довольно странными. Что может быть общего между ощущением холода и голосом человека? Между звучанием смеха и блеском серебра? Или между тишиной и сверканием прозрачного хрусталя? Однако мы понимаем смысл таких выражений, как *холодный тон*, *серебристый смех*, *хрустальная* и *прозрачная тишина*. Мы не удивляемся, когда мелодичный звон колоколов называют *малиновым*, громкую и торжественную музыку — *пышной*, а излишне нежную — *слащавой* (см. Горбачевич К. С., Хабло Е. П. Словарь эпитетов русского литературного языка. Л., 1979). Нам вполне понятны и такие поэтические метафоры, как *голубоватый смех*, *лазурная тишь*, *золотой голосок* (у А. Блока), хотя взятые отдельно, они выглядят непривычно.

В чем же здесь дело? Какое явление предстает перед нами?

Уже более ста лет внимание ученых-психологов привлекает явление «синестезии» (в переводе с греческого — «соощущение»). И в самом деле, рассматривая заинтересовавшее нас явление, мы сталкиваемся с взаимодействием различных ощущений. Это те пять традиционных классов ощущений, о которых известно еще со школьных лет: зрение, слух, обоняние, вкус, осязание. Правда, под осязанием в науке понимают не одно какое-то ощущение, а целый их комплекс: температурные (тепло и холод), тактильные (прикосновение, вибрация и давление), болевые (боль) и — при учете мышечно-суставной активности — кинестезические (вес). Все они несут информацию о внешнем мире (см. Величковский Б. М., Зинченко В. П., Лурия А. Р. Психология восприятия. М., 1973).

И вот, когда впечатления, свойственные одному органу чувств, сопровождаются дополнительными впечатлениями, характерными для других органов чувств (одного и более), тогда мы говорим о возникновении синестезий. В этой статье мы познакомимся с переносными, метафорическими значениями слова, основанными

на эффекте синестезии, иными словами, с синестетическими метафорами.

Итак, даже если взаимодействуют всего два класса ощущений, число комбинаций будет велико, но взаимодействуют нередко сразу три и четыре класса. Правда, не все эти комбинации отражаются в языке художественной литературы достаточно регулярно. Обратимся к самым характерным случаям, когда это взаимодействие передается наиболее типичным образом — словосочетанием.

Зрение — слух: светлый звук, бесцветный голос, тусклая музыка, малиновый звон, искристый смех, светлый гимн, се ребряная мелодия;

обоняние — слух: удушливый голос, душная тишина;

вкус — слух: сладкий звук, кислый тон, медовый голос, горький смех;

осязание — слух: ледяной тон (температурное), легкая музыка (кинестезическое), жесткий звук (тактильное), трепетный голос (вибрационное).

Слух — зрение: кричащие краски, немой мрак;

обоняние — зрение: душистый сумрак, пахучая мгла;

вкус — зрение: терпкие краски, сладкая полутьма;

осязание — зрение: ледяной блеск (температурное), тяжелые краски (кинестезическое), жесткий колорит (тактильное), колющий взгляд (болевое), зыбкие мазки (вибрационное).

Зрение — осязание — слух: светлый трепетный аккорд.

Температура — зрение — боль — слух: холодные, сверкающие, пронизывающие звуки.

В одном исследовании приводится пример слияния сразу целых пяти ощущений: «Эта музыка сухая, холодная, ясная и пенная, как шампанское», а именно, — слухового (музыка), осязательного (сухой), температурного (холодный), зрительного (ясный) и вкусового (шампанское).

Подобные метафоры могут появиться и исчезнуть, если не будут передаваться из поколения в поколение, фиксироваться в словарях и — самое главное — употребляться в литературе. Исследователь Б. М. Галеев метко сказал по поводу синестезий, что литература служит своеобразным «запоминающим устройством», запечатляющим их.

Обратимся к примерам из художественной литературы:

«Белые акации пахли так сильно, что их *сладкий, приторный, конфетный аромат* чувствовался на губах и во рту» (Куприн. Осенние цветы); «...*Морозы* все время стояли *трескучие*, навалило высокие сугробы...» (Чехов. Мужики); «Навстречу *колкому*

морозу, рассекая его разгоряченным лицом... она добежала до станции» (Федин. Города и годы); «Сильный, жесткий мороз; твердый, искристый снег...» (И. С. Тургенев. Разговор); «*Вибрирующий острый звон* осколков бритвенно прорезывал воздух» (Бондарев. Батальоны просят огня).

Здесь курсивом нами выделены сочетания слов, с помощью которых переданы разные типы синестезий, являющиеся также языковыми синестетическими метафорами. Но они столь привычны, что поначалу ничто не привлекает нашего внимания. А между тем в первом и втором примерах происходит взаимодействие различных классов ощущений: в первом «вкус — обоняние», во втором «звук — температура». В следующих двух наблюдаем взаимодействие в пределах одного и того же класса: в третьем «боль — температура», в четвертом «прикосновение — температура». В последнем же примере — комплексная синестезия: «вибрация — прикосновение — звук».

Но может быть, в этом отношении русский язык выделяется среди других языков мира? Нет, достаточно обратиться к многочисленным примерам из современных языков: франц. *climat mou* «мягкий климат», *couleur criarde* «кричащий цвет»; англ. *cold voice* «холодный голос», *piercing sound* «пронзительный звук»; итал. *odore acuto* «острый запах», *colore pastoso* «мягкий цвет» и т. д. Исследователь Боас приводит такую фразу из одного бесписьменного языка индейцев: «Слова ударяли гостей, как копьё ударяет дичь или лучи солнца ударяют в землю».

А что из себя представляют некоторые языковедческие термины, общие для всех развитых языков? Известно, что звуки бывают *твердые* и *мягкие*, *дрожящие*, *резкие* и *нерезкие*, ударение — *тяжелое* и *острое*, придыхание — *густое* и *легкое*; описывая определенные изменения в звучании слов, ученые говорят, что согласный *отвердел* или *смягчился* и т. д.

Обратимся к словарю музыкальных терминов. Что мы там обнаружим? Множество иноязычных слов, так же как их традиционные русские переводы, характеризуют слуховые образы, хотя сами по себе призваны обозначать отнюдь не слуховое восприятие (в ряде случаев прилагательные принято переводить наречиями): итал. *ardente* «горячо», *brillante* «блестяще», *fermo* «твердо», *caldo* «холодно»; франц. *sec* «сухо», *léger* «легко»; нем. *leicht* «легко», *hell* «ясно» (светло); англ. *bitter* «горько» и др.

Не только в музыковедении, но и в теории изобразительного искусства давно узаконены и перестали ощущаться как метафоры следующие выражения: *теплые тона*, *холодные краски*, *тяжелый фон*, *мягкий блеск*, *легкий штрих*, *кричащие краски*.



Но вовсе не стоит думать, что синестетические метафоры появились в языках лишь в последнее время. Ученым известно немало примеров, встречающихся в литературных памятниках стран Азии и Востока — Китая, Японии, Ирана, Египта, Вавилона, Палестины, Аравии; античной литературе. Вероятно, не многие знают, что, говоря «Архитектура — это застывшая музыка», мы повторяем слова римского архитектора Витрувия. В средние века интерес к синестетизму заметно падает, затем в эпоху Возрождения снова возрастает. В этом большую роль сыграли научные открытия. Известно, что Ньютон в 1700 году установил соответствие между цветовой и звуковой гаммами, каждая из которых содержит семь элементов: до — красный, ре — фиолетовый, ми — синий, фа — голубой, соль — зеленый, ля — желтый, си — оранжевый. Позже его упрекали в том, что он выбрал число цветов в спектре равным «божественному» числу пифагорейцев, в чьих воззрениях универсальным пропорциям соответствуют расстояния до семи известных в ту пору «планет», откуда и идет представление о «музыке сфер» и космической гамме. Опыты Ньютона произвели глубокое впечатление на последующие поколения вплоть до Вольтера и Гете. Широко известно высказывание Гете: «В живописи уже давно недостает знания генерал-баса». Ему же принадлежат слова: «Я не имею ничего против допущения, что цвет можно даже осязать».

Отметим, кстати, что представления о символическом значении числа 7 дают о себе знать не только в давно минувшие времена, но и в наши дни. Первая классификация запахов (1756 г.) принадлежит великому шведскому натуралисту К. Линнею и включает семь разновидностей, а гораздо позже, в 1964 году, америка-

нец Дж. Эймур выявил в сфере обоняния семь основных запахов. А в рассказе А. Н. Толстого «Золотая цепь» мы читаем: «В музыке семь звуков, в живописи семь тонов, и семь вкусов в еде: соленое, горькое, пресное, кислое, сладкое, терпкое и острое». Впрочем, это уже тема особого разговора...

Вернемся к нашему изложению и обратим взор к эпохе романтизма. Его представители проповедовали идею слияния всех искусств, и средством выражения его должна была стать синестезия. Э.—Т.—А. Гофман сказал: «Это не пустой звук и не аллегория, когда музыкант говорит, что краски, запахи и лучи представляются ему в виде звуков и в их сочетании видит он дивный концерт». Другой немецкий романтик Л. Тик воскликнул: «Пусть каждый звон созвучный цвет встречает...». Но только Т. Готье, французский писатель и художник, стал «теоретиком синестезии», и это благодаря его творчеству она кристаллизовалась в эстетическую доктрину у символистов. Символисты стремились уже не столько к синтезу искусств, сколько к «синтезированию ощущений». Вот почему Ш. Бодлер в сонете «Соответствия» утверждал, что все звуки, цвета и запахи соответствуют друг другу, а его соотечественник А. Рембо написал свой знаменитый сонет «Гласные», в первой строке которого читаем: А — черный, Е — белый, I — красный, U — зеленый, O — синий. Другой поэт-символист — Р. Гиль дал свои аналогии: А — черный, Е — белый, O — красный, I — голубой, U — желтый.

У нас в стране, благодаря исследованиям А. П. Журавлева, установлены достаточно достоверные звукоцветовые параллели: А — ярко-красный, O — яркий светло-желтый или белый, И — светло-синий, Е — светлый желто-зеленый, У — темный сине-зеленый, Ы — тусклый темно-коричневый или черный, Ю — многим кажется окрашенным в сиреневый цвет, а Р часто связывается в восприятии с темно-красным цветом (Журавлев А. П. Звук и смысл. М., 1981).

Итак, мы узнали, что основанные на синестезии языковые метафоры присутствуют во многих, если не во всех, древних и современных языках, в искусствоведческих и научных текстах и, сверх того, — в художественной литературе. Но мы узнали еще и то, что благодаря романтикам и символистам синестезия стала как бы провозвестием слияния искусств, появления неведомых еще форм Прекрасного, причудливой гармонией впечатлений. И, наверное, не случайно звучание флейты Л. Тикю виделось небесно-голубым, Стендалю — ультрамариновым, а русскому художнику В. Кандинскому и русскому поэту К. Бальмонту — голубым! Писатель Э.-Т.-А. Гофман, композиторы Римский-Корсаков и Скры-

бин, художник и композитор Чюрленис обладали поистине удивительным цветовым слухом. В 1910 году Скрябин написал оригинальное светомузыкальное произведение — поэму «Прометей».

Прекрасной иллюстрацией синестезии в языке художественной литературы являются строки из стихотворения А. К. Толстого «Он водил по струнам; упали...», где говорится о звуках скрипки, которые «дивно звучали, разливаясь в безмолвии ночи»:

В них рассказ убедительно-лживый
Развивал невозможную повесть,
И змеиного цвета отливы
Соблазняли и мучили совесть.

А как ярко описывается вальс в романе А. Куприна «Юнкера»: «...Лился... упоительный вальс. Казалось, что кто-то там, на хорах, в ослепительном свете огней жонглировал бесчисленным множеством брильянтов и расстилал широкие полосы голубого бархата, на который сыпались сверху золотые блески».

В восприятии А. Блока эмоциональная стихия захлестывает предметное значение слова, создавая, как мы это ощущаем из строк его поэмы «Ее прибытие», лишь общий музыкальный настрой:

Белый, как белая птица, далеко
Мерит и выси и глуби — и вдруг
С первой стрелой, прилетевшей с востока,
Сонный в морях пробуждается звук.

В поэзии А. Блока много синестетических метафор, и среди них: золотой голосок, красный зов, белый зов, клич красный, белые звуки, красный смех, красный крик, черный смех, темный говор, зеленая тишина, голубая тишина.

Подобные метафоры в противоположность общеупотребительным называют авторскими, индивидуальными. Однако не следует думать, что они чужды реалистическому искусству. В романе М. Горького «Мать» можно найти немало таких примеров, как *белый голос судьи, скользкий звук голоса судей, обесцвеченные голоса свидетелей, густой и влажный звук гудка, безразличный и холодный аккорд, тяжелые вздохи с влажным хрипом* и т. п.

Но и самые стертые, потерявшие блеск образы засверкают вновь, подобно звукам волшебной поэтической мелодии стихотворения Ф. И. Тютчева «Проблеск»:

Слышал ли в сумраке глубоком
Воздушной арфы легкий звон,
Когда полночь, непароком,
Дремавших струн встревожит сон?..

О языке — неравнодушно

Народная артистка РСФСР Рина Васильевна Зеленая как автор не нуждается в особом представлении. Она известна с детства не одному поколению советских людей как прекрасная киноактриса, звезда советской эстрады, киносценарист, мастер разговорного жанра. Это чуткий к живому звучащему слову человек, кровно заинтересованный в здоровом, благоприятном культурно-речевом «климате» для детей и взрослых, выступающий (к сожалению, не так часто, как хотелось бы) на эту тему в печати. В последнее время Р. В. Зеленая предстала перед нами как интересный и талантливый писатель-мемуарист, автор увлекательной книги воспоминаний «Разрозненные страницы» (М., 1981). В различных главах этой книги читатель найдет немало метких замечаний, любопытных и неожиданных наблюдений над манерой говорения, стилем речевого поведения известных людей — писателей и актеров, ученых, летчиков и космонавтов, художников и режиссеров и мн. др. Есть здесь и прямые обращения к русскому языку: «Русский язык! Как я люблю тебя. Какое счастье уметь говорить правильно по-русски, читать и слушать, как красива русская речь! Сейчас многие говорят неправильно, небрежно — это глупо и безправственно».

Интерес к языку у Р. В. Зеленой не случаен, поскольку она постоянно имеет дело с устной речью и сама является подлинным мастером звучащего слова. В вопросах речевой культуры Р. В. Зеленая проявляет практический, можно даже сказать, общежитийский взгляд на вещи. Она пишет о том, что у нее наболело, что отложилось в памяти за многие годы и о чем она просто не может молчать. Все эти досадные ошибки или нежелательные модные речевые «новотрия» вызывают ее активное неприятие, и она смело вступает с ними в решительный бой. Энергично протестует она против ненужной «скороговорки» в обиходно-бытовой и в сценической речи, против многих устойчивых искажений литературных норм.

В языковых заметках Р. В. Зеленой подкупает не узко актерский и не чисто профессиональный подход, а открытый граждан-



ственный пафос. Это обращение к родителям и педагогам, к радиожурналистам и дикторам, ко всем, кому дорог родной язык и кто понимает настоятельную необходимость его сохранения и развития, кто полон тревоги и заботы о полноценности современной языковой жизни во всех ее проявлениях.

Конечно, в конкретных оценках и квалификациях Р. В. Зеленой специалисты-языковеды могут обнаружить некоторые терминологические неточности (сама она с излишней, может быть, самопронией говорит о том, что заметки написаны «вполне ненаучно»). Но ведь дело не в этих частностях, а в общем тоне рассуждений, в справедливости главных выводов, сделанных человеком большого жизненного опыта, высокой культуры и безупречного эстетического вкуса.

Хотелось бы обратить внимание на сам стиль изложения публикуемых ниже заметок. Увлекательность, искренность, живость интонации — все эти качества, которые так ярко проявились в книге «Разрозненные страницы», обнаруживают себя и в предлагаемых кратких рассуждениях. В таком духе мало, к сожалению, говорят сейчас о языке, а говорить так надо. Этого требует настоятельная забота о будущем и самого русского языка, и новых поколений, которые станут на нем говорить и писать.

Л. И. Скворцов,
доктор филологических наук,
зав. сектором культуры русской речи
Института русского языка АН СССР

Поговорим о том, как мы говорим

Р. В. ЗЕЛЕНАЯ,

народная артистка РСФСР

*И чистый звук родимой речи
Так нежно губы холодит*

Белла Ахмадулина

Я долго-долго почему-то собирала какие-то слова. Потом нашла тетрадь, где они, услышанные в разное время по радио, телевидению, в выступлениях, в разговоре, были мною записаны. Зачем? Ничто их не связывало. Прочла их вслух, подряд и тогда поняла, услышала ясно, что их объединяло неправильное произнесение. Были утеряны, выброшены из сдвоенных гласных и согласных по одному звуку. Звучало так: *сапщене, сображене, запарк, наборот, ваще, почеркнул, кáса, кацú* [к отцу], *подержал* кандидатуру, они уже *прибрели* навыки и т. д.

Отдельные «искажители» идут еще дальше, «для скорости» выбрасывая уже целые слоги: вместо «пятьдесят-шестьдесят» говорят *писят-шисят*. Или: «Послушайте *стигворение* Фета». Объявляют: *Обедненный* [объединенный] хор; *Обедненные* нации; *Обедняют* [объединяют] три хозяйства; *Арктура* [архитектура]; *Кимография* [кинематография] и т. д.

Кто-то скажет: подумаешь, один звук, один слог, и так все понятно. Нет, не подумаешь! От этого речь наша становится небрежной, невнятной, неряшливой. Вот это особенно угнетает. Небрежность. Я предупреждаю, что то, о чем я пишу, будет вполне ненаучно. Но ведь самый маленький стрелочник, увидя вывернутые гайки на полотне железной дороги, имеет полное право поднять флажок и подать сигнал об опасности. Так и я кричу: Послушайте! Неужели, чтобы сэкономить время, мы будем пропускать звуки, не выговаривать слоги, терять сдвоенные гласные и согласные? Вместо «вообще» говорить *ваще* и вместо «специальность» — *специальность*? Идут в *тятр*, пошел *кацу* [к отцу], зашел в *кáсу*, *выграл* первые *мачи* [матчи]. Да эти сдвоенные звуки не надо выговаривать, они почти проскальзывают, но они есть и должны чувствоваться в речи, в любой скороговорке, как бы мы ни торопились. Может

быть, подобное произношение экономит время, столь ценное в наш век? Нет. Нисколько. Проверяла по хронометру. Гораздо экономнее избавляться от многословия.

Сколько любви к родному языку в словах великих наших мастеров: Л. Толстого, Гоголя, Тургенева, Даля! Сколько уважения к нашей прекрасной речи! Какая тревога за нее! И все-таки люди идут в *филиал тятра*, в *запарк*, едут на *ародром*, у них развивается *выбражене*, появляются *сображеня*. Надо произнести все это вслух, чтобы услышать, как это некрасиво, безобразно звучит. Конечно, эти гласные произносятся не так, как пишутся, и два *о* переходят почти всегда в редуцированные два *а*, но они остаются в речи, в ее ритме. И «силы» у нас всегда «вооруженные», а не *воруженные*. И «Спартак» выиграл два «матча», а не *выграл* два *мача*. Куда девалось *т*? Оно исчезло совсем. Я говорю сейчас о «вывернутых гайках», не касаясь других небрежностей. Их стало слишком много. Никто не хочет замечать. Кто-нибудь может сказать: неужели не понятно, что язык меняется. Понятно. Даже у Анатоля Франса в одной статье читала я, что во Франции как-то решили привести язык в порядок, и несколько лет ученые занимались этим. И когда все было закончено, выброшено все ненужное и внесено все необходимое, выяснилось, что за это время язык опять переменялся.

Но я говорю не о языке. Сейчас я говорю только о небрежной разговорной речи, о неуважении к языку, которое ведет к непоправимым последствиям. Ведь дело дошло до того, что Е. Н. Гоголева, народная артистка СССР, пишет в «Литературной газете», что русская речь потеряна даже в Малом: «Перестали любить слово... Ну в самом деле, как можно бормотать русскую речь?.. Ведь необычайно красивый язык... Потеряли ощущение красоты слова... А как говорят на телевидении?.. Тоже невнятно... Я говорила директору одного [театрального] училища: „Плохо они говорят“. А он: „У нас это поставлено хорошо... Выходит, мы за четыре года его ничему не научили?“» (Лит. газета, 1984, 11 июля).

То, о чем говорит Е. Н. Гоголева, — работа актера, за которую он отвечает. Это его профессия, его учили этому: выговаривать слова, говорить по-русски со сцены. Трудно поверить, чтобы профессионал не научился говорить. Его учили говорить по-русски, да так, чтобы каждое словечко было понятно зрителю в зале, по телевидению или по радио.

Если он плохо делает, то выдает брак. Это недопустимо. Это плохая, бракованная работа, как плохо сделанная деталь, как испорченная продукция. Но это уже совсем другое дело: ведь в данном случае речь является продукцией, которую «производит» актер.

А я-то говорю не об актерах, а о нашей обыденной речи, о лекции, о простом разговоре, ежедневном — дома, в метро, в магазине, в выступлениях. Везде я хочу слышать русскую речь. Наша речь богата говорами, бывает медленной, степенной, бывает горячей, быстрой, может быть с местными ошибками, с оговорками: говор северный — певучий, южный — торопливый.

Возникают и исчезают модные словечки. Вот одно словечко, появилось оно очень давно, в 30-х годах: *пошив*. Борьба с ним шла долго. «Индпошив» был на каждой улице, в каждом городе. И писатели писали, и люди грамотные объясняли, и с эстрады смеялись. Нет, это слово закрепилось, зацепилось — и всё. Теперь даже так говорила по радио одна женщина: «Я *пошиваю* на фабрике уже 15 лет». А еще молодая девушка в другой передаче на вопрос «Какая у вас сейчас работа?» ответила: «Сейчас я *пошиваю* изделия с рукавами». Это обозначает, что она *шьет* платья. А почему слово *пошивать* лучше, чем просто *шить*? Всегда *шили* и вдруг стали *пошивать*.

Конечно, сейчас большинство наших людей разговаривают по-русски красиво и правильно. Но ведь я сигнализирую об опасности.

Теперь речь пойдет об ударении и словоупотреблении. Тут уж мы распоясались вовсю. Каждый придумывает, что хочет: *дála, взýла, спáла, вы неправý*, теперь прибавилось *понýла, занýла* и т. д. Изредка бывает даже: *кáндалы брýцают*. И совсем невероятное: *лбжут*. Продавец кричит: «Не ложите, не ложите. Тут рыбу не разлáживают, а они лбжут!». Вообще-то есть слово *положить* и все его формы. И повелительное наклонение: «Положите». Но с частичкой *не* надо сказать: *не кладите*. И нельзя говорить водителю: «*Ехайте* направо, а потом *ехайте* все прямо». А еще хуже того: «*Едьте* потише». Повелительное наклонение будет: «*Поезжайте* прямо, потом за угол». Придя в гости, нельзя сообщать хозяевам: «Мы с Мариной полчаса *блудили* в соседнем подъезде». Надо сказать: *зablудились* или *проблуждали*.

Телепередача «Русская речь» много раз обсуждала вопрос: «Как нужно спрашивать — *Вы последний* или *Вы крайний?*» Один мальчик ответил: «По-моему, очень ясно. Крайний может быть в ряду, когда стоят плечом к плечу (слева крайний и справа крайний). А когда стоят в затылок в очереди, то может быть только первый и последний». Довольно просто. А сколько лет идут споры! Один телезритель даже предложил спрашивать очередь: «Кто задний?».

А еще в этой передаче сомневались, как говорить: *зеркало* или *зэркало*? Даже удивительно. Да, на юге и в Одессе говорят: *зэркало, шинэль, пионэр, тарэлочка, красивее*, а теперь прибавилось *танцэвать*. До сих пор произносили просто: после *ц* в этом слове редуцированное *а*. А теперь слышим: «Он ушел на *танцэвальную* площадку *танцэвать* под *танцэвальную* музыку».

Необходимо все же отметить, что много людей стараются сохранить чистоту речи. Проверяйте себя! Не поддавайтесь примеру окружающих! Помните, что кругом — наши дети. Уж они-то подхватят любое искажение и понесут дальше *банты* и *торты*, особенно если услышат, что так сказала учительница.

На что мне теперь надеяться? Услышат ли мой голос те, кто ничего не хочет слышать? Ведь так много людей говорят по-русски красиво, правильно. Это ученые и дети, дикторы и доктора. Я не считаю, что все шамкают и бормочут. Многие говорят так красиво, что заслушаешься. И совсем молодые рабочие и старые колхозники. Несомненно, дикторы являются главными учителями правильной русской речи. И как велика их ответственность: ведь каждая ошибка расходуется миллионным тиражом, и об этом надо постоянно помнить!

Как прекрасна русская разговорная речь! Академик Д. С. Лихачев сказал, что слово письменное превращается в слово звучащее, и это чудо! Ну вот. А некоторые этого не хотят понять и услышать самих себя и других. Не утруждая себя артикуляцией, произносят слова, не разжимая губ. Вот и получается косноязычие и невнятица. Конечно, их меньшинство. Но этих немногих у нас очень много, потому что мы — громадный народ, а наше маленькое меньшинство может равняться целому небольшому государству.

Услышьте меня, меньшинство! Для детей, для будущего необходимо сохранить этот прекрасный язык, полу-

ченный нами по наследству. На нем говорили Ленин, Л. Толстой, Чехов, Горький. Неужели мы, наследники и хранители, не сумеем передать его потомкам?

Очень уж огорчают распространенные ошибки в орфоэпии, например, фрикативное *г*, которое так красиво, мягко звучит в украинском и абсолютно неуместно в русском...

И вот вам мое слово: русскую речь надо хранить и беречь, как русскую природу. Она столь же прекрасна и беззащитна.

Рисунок Лии Орловой

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

«Правильно ли выражение *зрительские места*?»

Б. Д. Серебряный, Саратов

Сочетание слов *зрительские места* употребляется в профессиональной речи работников

театра. С этой точки зрения оно не вызывает никаких возражений. В общелитературном языке обычно используется словосочетание *места для зрителей*.

Тавтология

как средство выразительности

С. А. ПУГАЧ,

кандидат филологических наук

Персонаж рассказа В. В. Вересаева «Паутина» говорит своей собеседнице: «Мне кажется, вопрос поставлен тобою очень странно. Если человек в каком-нибудь отношении *интересен*; то, конечно, он в этом отношении *интересен*. Это тавтология» (здесь и далее курсив в примерах наш.— С. П.).

Термин *тавтология* (греч. *tauto* — «то же самое» и *logos* — «слово») давно вошел в широкое употребление, однако до сих пор понимается не однозначно. Если, например, «Словарь лингвистических терминов» О. С. Ахмановой рассматривает тавтологию только как неоправданную избыточность речи, то «Краткая литературная энциклопедия» и энциклопедия «Русский язык» видят в тавтологии как проявление речевой избыточности, так и специальный прием выразительности. Продолжает оставаться недостаточно ясным и объем самого понятия.

Случайное столкновение слов одного корня настораживает выскательный вкус. В романе С. Дангулова «Дипломаты» есть примечательные строки: «— Тогда я вам [Белодеду] почти все сказал,— усмехнулся Чичерин добродушно-иронически.— Да, он [Репнин] дипломат, хотя и своеобразный, не столько дипломат-практик, сколько ученый, *знаток* международного права, очень *знающий*. Погодите, как я сказал? *Знаток... знающий?* Как плохо! — воскликнул он огорченно и умолк».

М. В. Ломоносов в «Кратком руководстве к красноречию» (§ 175) советовал остерегаться частого повторения однокоренных слов и одинаковых выражений. А. М. Горький в статье «О литературе» назвал «словесными фокусами» тавтологию во фразе «По-весеннему было *тепло* неожиданной *теплотой* *ростепели*». Не допускать подобных повторений стало традиционным школьным и редакторским требованием. Однако мы еще далеки, особенно в практических сферах речи, от безусловного его соблюдения. И в устном, и в письменном изложении нередко встречаются излишние употребления, ничем не обогащающие ни мысли, ни чувства, например: *В результате анализа получены новые результаты*; *Люди трудятся с трудовым подъемом*; *Это ему приснилось во сне*; *Книгу*

нужно *возвратить обратно* в библиотеку; В своей *автобиографии* он пишет (первая часть слова *-авто* как раз и означает *свой*); Продолжается *процесс развития* растений (в слове *развитие* уже заключена идея процесса); Посмотрите *прейскурант цен* (иноязычное *прейскурант* — это и есть перечень цен). Такого рода повторения обусловлены речевой бедностью, незнанием значения слова или невнимательностью.

И все-таки нет оснований для вывода, что тавтология как явление языка в принципе противоречит его природе и эстетическому вкусу человека. Она складывалась веками в речевой деятельности народа. Не случайно стали нормативными сочетания типа *белое белье, черные чернила, информационное сообщение, реальная действительность*, в которых смысловая избыточность уже не чувствуется.

Славянское, в том числе и русское, народное творчество изобилует тавтологическими формами речи: *ключ кликать, горе горевать, диво дивное, суета сует, видимо-невидимо, видным-виднешенько, один-одинешенек, жить-поживать, горе-гореваньице, звезда-зорька, грусть-тоска, поить-кормить*. Они закрепились в качестве нормативных лексических единиц, смысловая избыточность которых нейтрализована их поэтичностью и экспрессивностью. Так воспринимаем мы, например, знакомый каждому с детства типичный компонент речевого стиля сказок: «Скоро сказка *сказывается*, да не скоро *дело делается*». Многие из таких выражений стали устойчивыми речениями, фразеологизмами, пословицами, поговорками: *слыхом не слышать; видом не видать; мал мала меньше; без вины виноват; было и былшем поросло; дружба дружбой, а служба службой*.

Возможно, не во всех случаях легко провести убедительную границу между тавтологией-недочетом и тавтологией-приемом. Повод для рассуждения об этом, казалось бы, дают даже выдающиеся художники слова. Так, у Н. В. Гоголя встречаем тавтологическое сочетание *почувствовать чувство*, которое с точки зрения строгой стилистической критики может показаться неловким: «Какое-то неприятное, непонятное самому себе *чувство почувствовал* он и поставил портрет на землю» (Портрет). Нужно, однако, принять во внимание, что употреблен этот оборот совершенно сознательно и в системе художественной речи. Поэтому и оценивать его следует не изолированно, а в широком контексте речевой практики писателя, для которого тавтология, как известно, была привычным стилистическим приемом. К тому же это сочетание употребляется у Гоголя не раз. В поэме «Мертвые души»: «...езде хоть раз встретится на пути человеку явление, не похожее на все то, что случа-

лось ему видеть дотоле, которое хоть раз пробудит в нем *чувство*, не похожее на те, которые суждено ему *чувствовать* всю жизнь».

Такое же выражение находим и у Л. Н. Толстого, в стиле которого тавтологии принадлежит важная роль психологического осмысления изображаемого: «Она [княжна Марья] певольно думала их мыслями и *чувствовала* их *чувствами*» (Война и мир); «С первого же дня, как он увидел Катюшу, Нехлюдов *почувствовал* прежнее *чувство* к ней» (Воскресение).

Тавтология в языке писателей, публицистов, ораторов, как правило, обусловлена контекстом. Это не механическое повторение, не простое дублирование уже выраженного понятия. Хотя М. В. Ломоносов предупреждал против употребления одинаковых или сходных форм в непосредственной близости, но и считал вполне уместным «многократное положение речения [слова] в предложениях» (§ 203), то есть тавтологию как стилистический прием. Такое повторение всегда что-то добавляет, уточняет или экспрессивно подчеркивает.

Какова же природа тавтологии?

Многие существенные стороны этого явления раскрыл известный ученый-языковед А. А. Потебня. Истоки тавтологии он видел в законах развития языка и мышления, в частности в объективном стремлении языка к смысловой четкости и выразительности. В статье «О некоторых символах в славянской народной поэзии» ученый пишет: «...смысл слова поддерживается в памяти народной сопоставлением этого слова с другим, имеющим сходное с ним основное значение. Отсюда постоянные эпитеты и другие тавтологические выражения, например *белый свет, ясный — красный, косу чесать, думать-гадать*» (Эстетика и поэтика. М., 1976).

А. А. Потебня показал также, как возникает смысловой и эмоциональный эффект тавтологии: «Усугубление в речи *одного и того же слова* дает новое значение — объективное или субъективное. Первое — когда при сравнении итога с отдельным слагаемым заметна разница в признаках обозначаемого; второе, когда итог указывает на изменение состояния самого говорящего, именно когда повторение слова и оборота вызвано чувством, замедляющим течение мысли, напр. гневом, который располагает к тождесловию» (Из записок по русской грамматике. Т. III. М., 1968).

Существенный признак тавтологии — повторяемость слов для обозначения одного и того же понятия — обусловил ее объем и структурное разнообразие. Ядро тавтологии составляют однокоренные слова и разные грамматические формы одного и того же слова: *думу думать, знобит зазноба, крайняя крайность, день-деньской*. Характерны именные и глагольные сочетания с творительным паде-

жом: *молодец молодцом, туча тучей, гроза грозой, ходить ходуном*; с так называемым вторым именительным: *закон есть закон, приказ есть приказ*; именные сочетания с тавтологическим эпитетом: *дальняя даль, тьма-тьмуца, горе горькое*. К этому явлению относятся и повторы: «Я остановился в гостинице, где *останавливаются* все проезжие...» (Лермонтов. Герой нашего времени). Слова, составляющие тавтологию, нередко обозначают разные понятия, что приглушает тавтологичность: «*Пахло* свежестью, *пахло* ночными цветами, *пахло* чуть влажной землей» (Балашов. Время власти).

Тавтология лежит в основе ряда стилистических фигур, то есть оборотов речи, предназначенных для усиления ее выразительности. Это — удвоение: «*Еду, еду* — следу нету» [загадка]; анафора (единоначатие): «В *думах моих* я все земли прошел, все моря переплыл; в *думах моих* я все грехи изведаль...» (Горький. Весельчак); эпифора (повторение конечных элементов высказывания): «Мне бы хотелось знать, отчего я *титularный советник*? Почему именно *титularный советник*?» (Гоголь. Записки сумасшедшего); градация (последовательное усиление однородных признаков): «Мозг *класса*, дело *класса*, сила *класса*, слава *класса* — вот что такое партия» (Маяковский. Владимир Ильич Ленин); обрамление (словорасположение, создающее замкнутость высказывания): «...но собеседники все *курили и разговаривали, разговаривали и курили*» (Л. Толстой. Ягоды).

Тавтология встречается в различных стилях речи, но особенно часто в языке художественной литературы и публицистики, где ей принадлежат многообразные смысловые и эмоционально-экспрессивные функции. Отметим важнейшие из них:

усиление смысловой значительности и убедительности высказывания, выделение той или иной детали описания: «Мир можно сохранить, завоевания разрядки *можно* отстоять» (Правда, 1982, 4 ноября); «Какая громадная, многовековая подготовительная *работа* была нужна для того, чтобы *выработать* такие на вид простые приемы исследования...» (Вересаев. Записки врача);

обозначение длительности или интенсивности действия: «*Шли, шли*, надо и про ночлег подумать» (Белов. Привычное дело). Это впечатление может усиливаться трехкратным и даже многократным повторением: «Марья-царевна дождалась ночи, развернула волшебную книгу, *читала, читала, читала*, бросила книгу и за голову схватилась...» (сказка «Поди туда — не знаю куда...»);

подчеркивание или уточнение признака предмета: «...солнце садилось, когда я подъехал к Кисловодску, *измученный на измученной лошади*» (Лермонтов. Герой нашего времени); «*Необъятный* небесный свод раздался, раздвинулся еще *необъятнее*» (Гоголь.

Майская ночь). С особой отчетливостью уточнительная функция тавтологии проявляется при градационном построении предложения: «...на вершине лежала черная туча, такая черная, что на темном небе она казалась пятном» (Лермонтов. Герой нашего времени);

обозначение большого количества или массы предметов: «И в ту же минуту по улицам курьеры, курьеры, курьеры... можете представить себе, тридцать пять тысяч одних курьеров!» (Гоголь. Ревизор);

привлечение внимания к произведениям, газетным статьям благодаря их названиям, заголовкам: За далью — даль (Твардовский); Без вины виноватые (А. Островский); Ни одна даль не далека (Правда, 1982, 12 дек.); Дивное диво (Правда, 1982, 15 дек.); Когда беспокоит спокойствие (Комс. правда, 1982, 2 дек.); Дружит с городом дружина (Комс. правда, 1983, 18 мая);

усиление эмоциональности, патетичности речи: «Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты...» (Гоголь. Мертвые души); «Да разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу!» (Гоголь. Тарас Бульба);

создание каламбуров, вызывающих комическое впечатление: «И это нисколько не удивительно, а удивительно то, что вы находите это удивительным» (Белинский. Письмо к Гоголю); «Позвольте вам этого не позволить,— сказал Манилов с улыбкою» (Гоголь. Мертвые души). Комическое освещение часто получают особенности речи и мысли персонажа: «Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда» (Чехов. Письмо к ученому соседу);

средство связи частей текста в описаниях, рассуждениях, монологах, в публицистической и ораторской речи и одновременно выделение важного понятия или целой мысли: «Положим, я вызову на дуэль,— продолжал про себя Алексей Александрович, и, живо представив себе ночь, которую он проведет после вызова, и пистолет, на него направленный, он содрогнулся и понял, что никогда он этого не сделает,— положим, я вызову его на дуэль. Положим, меня научат...» (Л. Толстой. Анна Каренина).

Итак, тавтология — сложное, противоречивое по содержанию и разнообразное по структуре явление. Роль ее в языке определяется принятым употреблением, необходимостью в контексте, а также индивидуальным вкусом и мастерством автора. Неоправданное повторение слов и форм — это недостаток, снижающий культуру устной и письменной речи, целенаправленное же повторение — средство смысловой и эмоциональной выразительности.

“Женский вопрос” в наименованиях профессий

О. Л. ДМИТРИЕВА

Вопросы о том, как правильно назвать ту или иную женскую профессию, часто задают в своих письмах читатели «Русской речи»: *секретарь* Мария Дронова или *секретарша*? *парикмахер* Нина Сизых или *парикмахерша*? При этом высказываются самые противоречивые суждения. Одни корреспонденты возражают против употребления для такого рода наименований слов мужского рода, а другие призывают к тому, чтобы не допускать использования женского рода.

Трудности выбора формы для этих названий отражены и в разных пособиях. В одном, например, слова *профессорша*, *секретарша*, *парикмахерша* и под. относятся к разговорному стилю, рекомендуется писать и говорить так: «Валерия Петровна работает *секретарем*», а не *секретаршей*. В других — эта оценка оспаривается, и наименования типа *бригадирша* причисляются к нейтральному стилю.

В современной печати встречается употребление таких существительных женского рода, как *критикесса*, *клоунесса*, *косметичка* (женщина-косметолог), *юбилярша*. Например: «Инициатор их [выставок] создания — старый большевик Е. К. Малиновская, являвшаяся *директрисой* Большого театра СССР» (Военно-исторический журнал, 1972, № 3); «Первый букет преподнес *юбилярше* мальчик» (Работница, 1982, № 11); «*Критикесса* ругала поэта В. Котова за плохие стихи» (Пекелис. Кибернетическая смесь); «...следуя советам *косметички*» (Силуэт, 1979, № 6. — Курсив в примерах всюду мой. — О. Д.). Насколько правильны эти формы в нейтральных стилях речи? Какой род предпочесть: *учитель* или *учительница*, *депутат* или *депутатка*, она работает *связистом* или *связисткой*?

В статье показана история становления современной нормы употребления в наименованиях женских профессий на материале специальных журналов для женщин.

* * *

Первым специальным изданием для женщин в XIX веке был «Дамский журнал» (М., 1823—1828). Круг женских специальностей,



профессий, общественных обязанностей в то время был крайне ограничен. Для их обозначения в русском языке имелось достаточное количество исконных существительных женского рода. «Дамский журнал» освещал редкие факты научной и общественной деятельности женщин. При этом мерилom ее уровня было сравнение с результатами мужского труда. Критик тех лет, например, пишет: «Талантливо сильное перо сей писательницы-мущины» (Дамский журнал, 1823, № 23).

Наряду с общеупотребительными существительными типа *правительница*, *фрейлина*, *швея* есть наименования, образованные от мужских соответствий по малопродуктивным словообразовательным моделям. Вот примеры из «Дамского журнала»: «О Гиппархии говорит Диоген, как о славной *философке* и трагической *стихотворице*» (1824, № 16); «До сих пор очень мало известно художественных произведений сей *живописицы*», «Сия знаменитая *виртуозша*, отъезжая из Москвы, давала свой прощальный концерт» (1828, № 1); «Московские *практикантши*, кажется, превзошли своим искусством идеи теориста автора» (1828, № 5). Подобные наименования — результат языковой привычки: называть женщину личным существительным женского же рода.

С шутливым осуждением «Дамский журнал» протестовал против возможности использования слов мужского рода для наименований женщин: «Нет сомнения, что первая Грамматика была написана мущиною, который не посовестился первым родом поставить мужской» (1828, № 1).

«Женский вопрос» и проблемы эмансипации, со всей силой поставленные в середине XIX века, стали освещаться в журналах

«Женский вестник» (СПб., 1866—1868), «Женское образование» (СПб., 1876—1891), «Женская жизнь» (М., 1910—1915), «Женский журнал» (М., 1900—1917). В них включен большой фактический материал о первых шагах женщин в трудовой и общественной деятельности. В широком языковом употреблении второй половины XIX и первых десятилетий XX века — целый набор профессиональных и других наименований, образованных от личных существительных мужского рода. Суффиксы *-их-*, *-ш-* использовались в основном для названий женщин по профессии или занятию мужа (*дьячиха, генеральша*), а *-есс-*, *-ин-* — по ее положению в иерархии сословной лестницы (*принцесса, княгиня*), позже эти суффиксы стали средством словообразования профессиональных наименований женщин.

Для второй половины XIX — начала XX века характерно отсутствие стилистического разграничения в формах мужского и женского рода. Слова на *-ша-*, *-ичка-*, *-иня-*, *-иха-*, *-иса-*, *-есса-* включались и в официально-деловую речь, и в тексты документов: «К указанным лицам комиссия просит направлять также запросы относительно *репетиторш* и *лектрис*» (Женский вестник, 1906, № 12); «Для заведования кассой он предложил избрать *кассирушу*, а в помощь ей двух *контролерш*» (Женское образование, 1880, № 6); «Законопроект об *адвокатессах*» (Русская жизнь, 1914, № 17). Активны эти существительные и в других жанрах публицистических текстов: «Много есть теперь таких женщин на всех поприщах открытого для них труда: и *учительницы*, и *докторш*, и *бухгалтерш*» (Женское образование, 1880, № 7); «Это — *профессорша* в области гастрономии» (там же, 1889, № 6—7); «За ними следуют инженеры — *химички*, *технологички*» (Женская жизнь, 1915, № 3).

Однако нельзя сказать, что подобные образования принимались единодушно. Так, в 1859 году Н. А. Добролюбов в статье «Почтитель дворянок», которая в рукописи называлась «Русский грамматик — любитель женского рода», с ироническим осуждением писал о «филологических тенденциях» г. Половцова, предлагавшего ввести в словарный состав русского языка некоторые новые женские наименования. Автор ряда грамматик и учебников русского языка В. В. Половцов писал: «...*юнкерша* и *канцеляристка* точно так же заняли бы свое место, как и действительные тайные *советницы*, *графини* и светлейшие *княгини*. Не знаю, почему нет у нас слова *другиня*, т. е. друг женского пола... У нас есть женские названия: *княгиня, героиня*... от мужских: *князь, герой*... Почему же не быть *другине* от слова *друг*? Притом же *друг* служит теперь, как будто за недостатком слов в нашем богатом русском языке, названием и женщины: мой друг, дружок, дружочек! — говорит муж

жене, брат сестре, даже отец дочери. Так, слово *другиня* произошло бы не от мужского *друг*, а само из себя, и разумеется, в о з ы м е л о бы свою историю» (Свисток. Сатирическое приложение к журналу «Современник». 1859—1863. М., 1981, с. 16—17).

Наплыву в нейтральные стили речи названных наименований противостоит и позиция лингвистов-нормализаторов. Автор «Опыта словаря неправильностей в русской разговорной речи» В. Дологчев (I изд.—1886, II изд.—1909) зачисляет в разряд «неправильностей» слова *авторша*, *авторка*. А. М. Пешковский в книге «Русский синтаксис в научном освещении» (изд. 6. М., 1938, с. 192) отмечал, что названия разных специальностей женщин не всегда допускают образования женского рода с недвусмысленным значением: *докторша*, *профессорша*, *мельничиха*. А вот мнение, высказанное публицистом: «Журналистке, критику, или, вернее, *критикессе* — есть такое не очень благозвучное словечко,— легко писать о деловой женщине: достаточно посмотреть на себя в зеркало... *Критикесса*, *геологиня*, *шефиня* — уже сами эти новообразования говорят о некоей парадоксальности явления. Слова рассчитаны, как видим, на мужской род и в женском выглядят довольно нелепо» (Лит. газета, 1979, 5 дек.).

В первые десятилетия XX века можно было встретить наименования с разным морфологическим оформлением. Приведем примеры из «Женского журнала» за 1915 год: «*Режиссером* театра Линь состоит молодая талантливая артистка Алейникова, с честью сочетающая обязанности *режиссера* с обязанностями *премьерши* труппы» (№ 7); «Затем идут представительницы умственного труда, *пионерши* духа. Кроме этих *пионерш* есть парижанки духа» (№ 10); «Интересно, что *пионерками* в этом отношении выступили в неаполитанском университете две русских» (№ 12); «*Автор* энергично восстает против фарисейства общества», но ниже: «Эпиграфом этой книги *авторша* взяла изречение...» (№ 6).

Развитие новой нормы употребления рассматриваемых наименований начинается после Октября. Появились пролетарские журналы «Работница» и «Крестьянка», издававшиеся в Москве, «Работница и крестьянка» — в Ленинграде. В этих журналах отражены изменения, происходившие в лексике того периода. Наблюдается одинаково нейтральное функционирование существительных женского и мужского рода: «Наталья-*секретарша* про Марью-*большевичку* читала, как посадили ее *председателем* в Исполкоме» (Крестьянка, 1923, № 3—4); «В первую очередь надо отметить *старшиху* (*помощника* мастера) Метелкину» (Работница, 1926, № 2). Такое положение сохраняется приблизительно до конца 20-х годов, когда нормативный отбор становится более жестким. Происходит

стилистическое размежевание соотносительных пар мужского и женского рода. Наименования на *-ша*, *-иха* становятся средством речевой характеристики, приобретают разговорную окраску: «Волкову сейчас за знание законов в деревне *комиссаршей* зовут» (Работница и крестьянка, 1926, № 3); «Я — сельская *организаторша*. Беда моя малограмотность» (там же, № 5).

Формы мужского и женского рода варьируются в зависимости от стилистического, ситуативного контекста: «— Я прикована цепью к телефону. Я ведь человек служащий.— Ученый *секретарь*? — Что вы!.. Я ведь ничего не окончила. Обыкновенная *секретарша*» (Крон. Бессонница). Или: «М. Бобровская работала в Саратове, на заводе, *секретарем-машинисткой* у главного инженера... Говорят, хорошая *секретарша* — половина директора — правильно!» (Работница, 1978, № 7); «Но разве можно было предугадать, что эта милая, разумная, приветливая *поэтесса* [О. Берггольц] превратится в строгого, властного *поэта*, чей стих станет важной частью ленинградской эпопеи» (Гринберг. Право на стих); «Она [Ахматова] не любила, когда ее называли *поэтесса*. Гневалась: ..Я — *поэт!*» (Ильина. Судьбы).

Изменения в употреблении таких наименований способствовали их выпадению из официально-делового и строгого публицистического стилей и переходу в основном в разговорно-обиходную речь. В противоположность этому в публицистическом стиле наблюдалось употребление форм мужского рода. Такой характер развития и становления нормы закономерен в русле общих тенденций развития языка, его стремления к лаконичности и информативности.

Новые профессии женщин, как правило, обозначаются словами только мужского рода: *биофизик*, *космобионик*, *дизайнер*. Чаще используются в официально-деловом, строгом публицистическом и нейтральном стилях речи формы мужского рода на *-тель*, *-ник*, *-ист* и другие, легко образующие женские соответствия: «Так отозвалась о Макеевой *заместитель* секретаря партийной организации конструкторского бюро Галина Доровеева» (Работница, 1983, № 10); «Бригада молодых швей под руководством опытного *наставника* Александры Федоровны Ершовой уже год работает с личным клеймом» (Работница, 1978, № 3); «В клубе с родителями не раз встречалась профессор А. А. Люблинская, *специалист* по детской психологии» (Работница, 1984, № 4).

Часть профессиональных наименований, традиционно употреблявшихся только в женском роде, в официально-деловой речи и строгих жанрах публицистики заменяется мужским родом. Вместо слова *комбайнерка*, бытовавшего в 30—50-х годах XX века, в совре-

менной речи используются *механизатор* или *комбайнер*, вместо *животноводки* (*свинарки, овцеводки, телятницы*) стали *зоотехники*. Только в обиходно-разговорной речи остались *делегатка* и *депутатка*, в строгом языковом употреблении — *делегат, депутат*: «*Депутатом* областного Совета я стала в 19 лет» (Крестьянка, 1984, № 6); «Наша Катя» — так называлась одна из статей о *делегате* XIV съезда комсомола (Работница, 1984, № 4).

История развития вариантности и становления нормы в группе наименований женских профессий требует осмысления сложившейся языковой практики, допускающей спорные случаи употребления, и возможных перспектив ее развития. Необходимы нормативная квалификация вариантов и упорядочение этих наименований.

Информативность, экономичность, удобство в обращении — вот качества, отвечающие языковым нормам; они предполагают преимущественное употребление мужского рода в официально-деловом и строгом публицистическом стилях речи.

Рисунок Владимира Леонова

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

«Что значит слово *раппорт*, встречающееся в текстильной промышленности, и с каким ударением его следует произносить?»

В. П. Ширяева, Москва

Существительное *раппорт* (из франц. *rapport*) означает — повторяющаяся часть рисунка на ткани, в вязанье, на обоях и т. п. Произносить его надо с ударением на конечном слоге — *рап-пóрт*.

«Считаются ли имена *Катерина, Лизавета, Настасья* полными или это уменьшительные формы?»

Е. А. Лориан, Вязьма

Имена *Катерина, Лизавета, Настасья* — разговорные формы полных имен *Екатерина, Елизавета, Анастасия*. Уменьшительные формы от этих имен — *Катя, Лиза, Настя*.

*Голографический (голограммный)
кинматограф,
голографическое (голограммное) кино,
голографический (голограммный)
фильм*

В 1948 году английский физик Деннис Габор изобрел метод получения объемного изображения, который назвал голографией (греч. *hólos* — весь, полный, целый и *graphō* — пишу). Он же предложил термин *голограмма* (письменный знак, черта, линия). Новообразования *голография*, *голограмма* оформлялись в русском языке как варианты слов, созданных на основе элементов классических языков.

От этих интернациональных терминов образовались производные слова: *голограф*, *голографический*, *голограммный*, *голографирование*, *голографирующий* и др. Все они зафиксированы словарями-справочниками «Новые слова и значения» (М., 1971 и 1984): *Голография* — метод получения объемного изображения путем освещения предмета лазерным пучком и вторичного освещения специально обработанного фотонегатива таким же пучком; *голограмма* — изображение, полученное с помощью голографии; *го-*

лографический — относящийся к голографии, основанный на ее использовании; *голограммный* — относящийся к голограмме, связанный с ее получением и использованием.

В настоящее время достижения голографии активно используются кинматографом. Созданы первые кинофильмы, получившие название *голографических фильмов* (вариант термина *голограммный фильм*). Так называют кинофильмы с объемным изображением, получаемым с помощью голографии. И вот уже наряду со «стереокино» появляется «голографическое (или голограммное) кино» и «голографический (голограммный) кинматограф», то есть кинматограф, использующий методы голографии и применяющий голограммы.

В 1970 году «Неделя» сообщила: «Ныне исследователи многих стран бьются в поиске движения... в голограммной записи. В „Науке о призраках“ запечатлены первые опыты наших ученых в этом направле-

нии — медленно идущая повозка, запряженная волами. Это еще не голограммное кино, хотя впечатление... незабываемое. Рядом с вами движется настоящий возок, который можно осматривать со всех сторон». А немного позже, в 1976 году, появился первый голографический фильм. Вот что об этом пишет «Советский экран» (1981, № 19):

«Основные принципы объемного цветного голографического кинематографа разработаны в НИКФИ [Всесоюзном научно-исследовательском кинофотоинституте]. В 1976 году участникам XII Международного конгресса ассоциаций кинема-

тографических организаций (УНИАТЕК) был продемонстрирован первый в мире голографический фильм. В настоящее время в НИКФИ ведутся работы по цветной голографии с использованием импульсного лазера. Разрабатываются техника подобной киносъемки, технология изготовления больших экранов для цветной кинопроекции. Все это позволит уже в ближайшем будущем показать зрителям экспериментальные голографические фильмы».

С. И. Алаторцева,
кандидат филологических наук
Ленинград

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

«С каким ударением нужно произносить географическое наименование *Халхин-Гол*?»

В. М. Уржумов, Лиски

Название реки *Халхин-Гол* «Энциклопедический словарь географических названий» реко-

мендует произносить с ударением на втором слоге — *Хал-хйн-Гол*. Такое же ударение дает «Словарь ударений для работников радио и телевидения» Ф. Л. Агеенко и М. В. Зарвы (изд. 5-е. М., 1984) и «Советский энциклопедический словарь» (М., 1981).

Афанасий Матвеевич Селищев

1886—1942

С. Б. БЕРНШТЕЙН,
доктор филологических наук

Выдающемуся ученому-лингвисту А. М. Селищеву принадлежат труды по истории и диалектологии русского языка, сравнительной грамматике славянских языков, по теории языковых контактов, топонимике и антропонимике; он автор широко известных учебников по славянскому языкознанию. Родился Афанасий Матвеевич 11(23) января 1886 года в селе Волове Ливенского уезда, ныне Орловской области. Семья его принадлежала к «казенным», то есть государственным, крестьянам, которые составляли основное население села. Здесь также жили и «цуканы», в прошлом помещичьи крестьяне, поселенные во второй половине XVIII века.

Очень рано мальчик должен был выполнять разнообразные обязанности сельского подростка: помогать по хозяйству, ездить в ночное, скирдовать сено. Раньше своих сверстников он начал косить и пахать, так как не по летам был высок и силен. После завершения летних полевых работ посещал местное

земское четырехклассное училище. Уже в первом классе он обратил на себя внимание учителя, так как хорошо и бегло читал, быстро и легко все запоминал, по всем предметам был первым учеником. Поражала его страстная жажда знаний. Со второго класса учитель начал заниматься с ним сверх программы, руководил домашним чтением.

После окончания училища по ходатайству учителя и инспектора народных училищ А. М. Селищев получил земскую стипендию, которая давала возможность продолжить обучение в реальном училище. Оно находилось в уездном городе Ливны. Неожиданно возникло затруднение — отец и слышать не хотел о дальнейшей учебе сына. Лишь решительное вмешательство матери помогло преодолеть сопротивление отца. Однако задержка привела к тому, что в Ливны А. М. Селищев попал после завершения вступительных экзаменов. Шел в свой уездный город сельский паренек 60 верст



пешком, босиком, за плечами болталась котомка, на палке через плечо нес новые сапоги. Встреча была холодной: директор отказался даже выслушать мальчика. Но на помощь опять пришел инспектор народных училищ, и вопреки правилам был проведен экзамен, на котором Селищев по всем предметам получил высший балл и был принят в училище.

Началась новая и необычная для мальчика городская жизнь. Он снял угол в семье местного ремесленника. За жилье и еду платил половину стипендии, другую половину регулярно отсылал отцу. В пятом классе он начал давать уроки по русскому языку и литературе ливенским недорослям. Это приносило дополнительный заработок и воспитывало навыки будущего педагога. Именно тогда, в пятом классе реально

го училища, Селищев принял решение продолжать образование в университете. Только теперь он узнал, что для этого нужно иметь аттестат гимназии. А его можно получить после сдачи дополнительных экзаменов при гимназии по латинскому языку, по античной, западноевропейской и русской литературе.

Нелегко молодой Селищев входил в новую социальную среду. Его диалектное произношение вызывало насмешки товарищей, иронические замечания учителей. Много сделал для исправления произношения крестьянского мальчика учитель словесности. Уже в третьем классе речь Селищева не отличалась от речи детей из интеллигентных семейств. Однако духовная связь Афанасия Матвеевича с породившей его социальной средой никогда не прерывалась. Это особенно отчетливо проявилось в исследованиях ученого по русским диалектам. В их описаниях перед нами проходит целая галерея людей с индивидуальными особенностями, заботами и надеждами, а не безликие информаторы, как во многих работах по диалектологии. В авторе всегда чувствуется человек, отлично и близко знакомый с крестьянским трудом и бытом.

После окончания реального училища А. М. Селищев успешно сдал при Курской гимназии

все необходимые экзамены. Университетский курс он проходил в Казани. Его учителями здесь были Н. М. Петровский, А. И. Александров и В. А. Богородицкий. Под их руководством сформировался ученый-славист с глубокой общей филологической подготовкой, лингвист с обширными знаниями по физиологии звуков, сравнительной грамматике славянских языков, диалектологии.

Впервые в Казани А. М. Селищев столкнулся с многоязычным населением. И это, конечно, не прошло бесследно для молодого ученого: он избрал себе специальность слависта. Однако и тюркологическая (в меньшей степени угро-финская и монгольская) проблематика мощно вошла в круг его специальных занятий, определила постоянный интерес к проблемам языковых контактов. К концу жизни в автобиографии Афанасий Матвеевич писал: «Основной мотив моих изучений — это исследование разноязычных связей в свете общественных отношений».

В 1912 году из печати вышла первая научная работа А. М. Селищева о чешском поэте и публицисте К. Гавличке. Исследовательские интересы ученого были достаточно широки. Однако постепенно они концентрируются на русской и македонской диалектологии. В 1914 году на сравнительно короткий срок он поехал на

Балканский полуостров и возвратился с большим запасом весьма ценных наблюдений. Он подготовил фундаментальный труд «Очерки по македонской диалектологии», который был опубликован в 1918 году. За него ученый получил степень магистра славянской филологии.

В этом же году был открыт первый в Восточной Сибири университет — Иркутский. Куратором нового учебного заведения стал Казанский университет. И в Иркутск из Казани отправилась группа молодых ученых, среди которых был А. М. Селищев. Ему было поручено руководить подготовкой специалистов-русистов. Афанасий Матвеевич избирается профессором кафедры русского языка. В Иркутске он пробыл всего два года, но за этот короткий срок успел много сделать как в области организации преподавания лингвистических дисциплин, так и изучения русских диалектов Сибири. В издании Иркутского университета были опубликованы две его монографии: «Забайкальские старообрядцы» и «Диалектологический очерк Сибири». Селищев не только охарактеризовал в них особенности русских сибирских говоров, но и уделил большое внимание изучению контактов этих говоров с туземными языками Сибири. И в дальнейшем он занимался вопросами смещения

языков, явлениями двуязычия.

В 1920 году А. М. Селищев стал профессором Казанского университета, а в 1922 году начался самый плодотворный — московский — период его творческой жизни, продолжавшийся с некоторыми перерывами 20 лет. По инициативе А. М. Селищева в 1925 году в Московском университете был открыт цикл, на котором начали готовить специалистов по языкам и истории зарубежных славянских народов. Ученый возглавил кафедру славяноведения и привлек к работе на ней Г. А. Ильинского, Н. Л. Туницкого, П. А. Расторгуева и др. Сам Селищев читал лекции по введению в славянскую филологию, старославянский язык, сравнительную грамматику славянских языков и другие специальные предметы.

Большим успехом среди студентов пользовались семинары Афанасия Матвеевича, среди участников семинара были Р. И. Аванесов, В. Н. Сидоров, П. С. Кузнецов и др. В его комплексном семинаре по Македонии принимали участие не только будущие лингвисты, но и историки и этнографы. А. М. Селищев работал и в других вузах: он был профессором Института философии, литературы и истории (ИФЛИ), МГПИ имени В. И. Ленина, а также находил время для чтения лекций в иногородних институтах. Особенно тесно он был связан

с Ярославским педагогическим институтом. Из его ярославской аудитории вышли ученые-лингвисты С. А. Копорский, В. К. Чичагов и А. М. Иорданский.

В Москве интересы к русской диалектологии у А. М. Селищева заметно ослабли. В 1927 году вышла из печати большая и очень ценная статья «Русские говоры Казанского края и русский язык у чуваш и черемис», но материал для нее автор собрал и обработал раньше, еще до приезда в Москву. Теперь первое место в его исследованиях стали занимать Балканы. За короткий срок Селищев опубликовал три большие монографии, в которых всесторонне исследовал историю македонских диалектов, современное их состояние, этнографические особенности местного славянского населения и т. д. Ученый принимал активное участие в разработке основ нового направления в науке о языке — балканского языкознания.

В 1929 году А. М. Селищев был избран членом-корреспондентом АН СССР, а в 1931 году — членом-корреспондентом Болгарской АН. Ученый был также членом многих зарубежных научных обществ.

В годы революции и гражданской войны в русском языке происходили глубокие изменения. Отличаясь острым языковым чутьем, А. М. Селищев, естественно, не мог пройти

мимо них. Еще в Казани он начал составлять картотеку неологизмов революционной эпохи. В 1928 году из печати вышла его монография «Язык революционной эпохи», в которой освещены различные стороны языковых переживаний последних лет. В этой книге автор выступил не только как исследователь современных процессов в русском языке, но и как учитель, просветитель. Он дал соответствующие положительные или отрицательные оценки новым языковым явлениям, предложил разного рода рекомендации. Основным источником для этой работы был материал газет и журналов. Однако А. М. Селищев не ограничился только печатными текстами. «Для ознакомления с этими чертами я производил наблюдения на фабричных собраниях рабочих... Данные, собранные мною, характеризуют не обыденную речь рабочих, а ту речь, какой пользуются они в момент обсуждения вопросов общественно-экономической и политической жизни», — писал автор.

Небольшая глава «В деревне» посвящена характеристике неологизмов революционного времени в языке крестьян. Прежде в своих диалектологических описаниях А. М. Селищев выявлял традиционные особенности русских говоров в области фонетики и морфологии. Теперь он изучал новые

процессы преимущественно в области словаря. Эта глава дала толчок новому направлению в изучении крестьянской речи. Строго говоря, эти исследования уже нельзя было назвать диалектологией, так как здесь шла речь о неологизмах без их строгой территориальной принадлежности.

Летом 1930 года А. М. Селищев приступил к составлению специальной программы по изучению новообразований в языке крестьян в связи с колхозным движением. В статье «О языке современной деревни» (1932), позже переработанной и дополненной (1939), он писал: «Деревня перестраивается в социальном, экономическом и культурном отношении. Перестраивается она и в языковом отношении» (см.: Селищев А. М. Избранные труды. М., 1968). Характеристике этого процесса и посвящена статья. Это исследование автор начал с изучения новых процессов в лексике; он всесторонне анализировал термины, относящиеся к собственно политической области; показал взаимодействие традиционной производственной лексики с новой, идущей из города.

Лингвистические аспекты топонимии в работах ученых уже давно занимают важное место. Они изучают географическую номенклатуру, наименования сел, отдельных частей села и всех мелких пунктов в

его районе: полей, холмов, гор, пастбищ, долин, лесов, урочищ, дорог и пр. В течение всей научной деятельности А. М. Селищев уделял много внимания топонимике, сохранившейся в различного рода старых документах и в устах народа. Особенно интенсивно он изучал русскую топонимику в последние годы жизни. Ученый готовил большое исследование «Очерки по русскому языку современной эпохи», опирающееся в значительной своей части на данные топонимики. Война прервала эту работу. Он успел завершить лишь разделы, которые были опубликованы в 1939 году под названием «Из старой и новой топонимии» (см.: Избранные труды). Автор широко привлек современные данные, собранные им самим или его учениками. Однако новаторский характер исследования проявился прежде всего в использовании данных писцовых книг XVI века, актов Московского государства, духовных и договорных грамот.

Близко к топонимике стоит антропонимика, то есть область лингвистической науки, посвященная изучению личных имен, прозвищ и фамилий. И здесь ученый оставил несколько очень любопытных по материалу и методике исполнения работ.

Исследовательские интересы А. М. Селищева не были непосредственно связаны с изуче-

нием праславянского, старославянского и древнерусского языков. Однако в течение почти трех десятилетий он читал лекции и вел практические занятия по старославянскому языку, по сравнительной грамматике славянских языков, а в молодые годы по истории русского языка. По самой своей интеллектуальной и нравственной природе А. М. Селищев не мог читать лекции с «чужого голоса». Он самым тщательным образом готовился к лекциям, самостоятельно продумывал их материал и вырабатывал собственный взгляд на существо затрагиваемых проблем.

А. М. Селищев был необыкновенным лектором. Опубликованные курсы не дают полного представления о его лекциях: они были насыщены острой полемикой, часто иронической. Профессор превосходно владел студенческой аудиторией. Обычно он не сообщал готовых результатов своих исследований, а умело, как подлинный мастер, показывал путь к ним. Нередко он предлагал и как будто даже защищал определенный взгляд на тот или иной вопрос, но затем совершенно неожиданно для студентов выявлял его противоречивость. И вдруг оказывалось верным то решение частного вопроса или большой проблемы, которое поначалу не находило поддержки у профессора. Не раз не без лукавства Афанасий Матвеевич готовил

нам такие сюрпризы и искренне радовался, когда замечал на наших лицах неподдельное удивление.

Результаты своих размышлений он нередко публиковал в больших статьях-рецензиях. Отражены они и в его учебниках. Свое первое учебное пособие А. М. Селищев опубликовал в 1914 году. Это было «Введение в сравнительную грамматику славянских языков». Перед самой войной вышел из печати первый том «Славянского языкознания», содержащий историю всех западнославянских языков. Посмертно был опубликован в двух частях учебник «Старославянский язык» (1951—1952), содержащий много нового в толковании природы и истории отдельных явлений первого письменного славянского языка.

Великая Отечественная война нарушила обычный ритм жизни А. М. Селищева. В это трудное время он потянулся к публицистике: написал статью «Культура западных и южных славян и ее вклад в мировую культуру» (опубликована в 1943 году в журнале «Славяне»). В самые тяжелые дни войны, в конце 1941 года, он был полон веры в победу. Помню его слова: «Гитлеровцы — опасные враги, но даже они победить нас не смогут». Сказано это было со спокойной и глубокой уверенностью. Осенью 1942 года А. М. Селищев тяжело заболел, а 6 декабря один из крупнейших славистов и балкановедов первой половины XX столетия скончался, не дожив до 57 лет.

Рисунок Алены Кирицовой

Всеволод Антонович Малаховский

1890—1966

О. А. БЕЗУГЛОВА,

кандидат филологических наук,

Е. С. СКОБЛИКОВА,

доктор филологических наук

Заслуженный деятель науки РСФСР, профессор Всеволод Антонович Малаховский родился 19 декабря 1890 года в Чите в семье служащего. Получив среднее образование в Пермской гимназии, в 1914 году он закончил славяно-русское отделение историко-филологического факультета Казанского университета. Его учителями были известные ученые-лингвисты В. А. Богородицкий, Е. Ф. Будде, А. М. Селищев.

Первые семь лет самостоятельной деятельности В. А. Малаховского связаны с работой в средних учебных заведениях и в органах народного образования Урала и Сибири; последующие 45 лет — с высшей школой. Вузовская деятельность В. А. Малаховского началась в 1921 году в Чите; в 1923—1930 годах он заведовал кафедрой методики преподавания русского языка в Иркутском университете. Затем Всеволод Антонович переехал в Куйбышев и в течение 36 лет

бессменно руководил кафедрой русского языка педагогического института.

Широкую научную и научно-методическую деятельность В. А. Малаховский начал с первых лет педагогической работы. В 1915 году в журнале «Филологические записки» была опубликована его первая большая статья «Крылов как журналист и критик и его значение в истории русской критики». В 1916 году он участвовал в работе I Всероссийского съезда преподавателей русского языка и словесности.

В 20-х годах В. А. Малаховский начал исследование сибирских говоров. В последующие годы, в Поволжье, продолжая это направление своей работы, он стал одним из главных организаторов огромной деятельности, развернувшейся в стране в связи с созданием под руководством Академии наук СССР Диалектологического атласа русского языка. Ученый возглавил коллективную работу

вузов по X тому атласа. В Куйбышевском межобластном кабинете были сконцентрированы материалы более чем по тысяче населенных пунктов юго-восточных областей европейской части СССР. Свыше 300 сел были обследованы под руководством В. А. Малаховского силами Куйбышевского педагогического института. Вплоть до середины 50-х годов Всеволод Антонович был неизменным участником ежегодных диалектологических экспедиций.

Богатейшие материалы, собранные сотнями людей — студентами и сотрудниками не менее десяти вузов, В. А. Малаховский оберегал с величайшей тщательностью. Он хранил их у себя дома, в своем кабинете; любовно обрабатывал, систематизировал, выполняя во многом и техническую работу. А для всех, кто проводил исследовательскую работу по этим материалам, дом Всеволода Антоновича и его жены Ксении Николаевны был гостеприимно распахнут. Аспиранты, коллеги из других вузов работали здесь неделями.

В. А. Малаховский, обобщая собранные материалы, существенно уточнил прежние представления о границах разных типов говоров в Заволжье, раскрыл немало общих закономерностей бытования диалектных систем, одним из первых начал монографическое описание отдельных говоров По-

волжья. Его работы в 40-х годах публиковались в разных изданиях АН СССР. Под его руководством выходил «Бюллетень Куйбышевского межобластного кабинета атласа русского языка»; в Ученых записках издавались обобщающие диалектологические исследования и др. В 1957 году была издана составленная В. А. Малаховским обширная «Куйбышевская областная диалектологическая хрестоматия», представляющая научный интерес и необходимая для подготовки студентов к педагогической работе в диалектной среде.

Сотни студентов и аспирантов — будущих учителей и научных работников — прошли через диалектологический кружок В. А. Малаховского; они учились здесь наблюдать и лингвистически точно осмысливать разносторонние явления языка. Переняв у своего руководителя любовь к языку и научную увлеченность, многие из них впоследствии сами возглавили диалектологическую работу — в Куйбышеве и Пензе, в Магнитогорске и Мелекесе (ныне Димитровград), в Воронеже и Горьком. Несомненной заслугой В. А. Малаховского является прочность традиций диалектологической работы в Куйбышеве. Активными ее продолжателями в университете и в педагогическом институте являются сейчас ученики его учеников — научные «внуки» и



«правнуки» Всеволода Антоновича.

* * *

Среди разносторонних интересов ученого постоянное место занимали проблемы методики преподавания русского языка. Об их содержании свидетельствуют даже названия его многочисленных статей: «Для чего необходимы школе наблюдения над языком»; «Импровизационный метод в развитии речи»; «Вопросы школьного краеведения»; «Антирелигиозное воспитание в работе словесника»; «К. Д. Ушинский о воспитательном значении родного языка»; «Фонетический анализ стиха как средство развития орфоэпических навыков» и другие. К этому циклу работ относятся «Новая грамматика русского языка. Опыт пособия для учителей и пед. техникумов»

и основанные на ней «Очерки по методике русского языка». Итогом многолетней научно-методической вузовской деятельности В. А. Малаховского является «Сборник задач и упражнений по курсу „Введение в языкознание“».

Начиная с дипломной работы, выполненной в Казанском университете, и до конца жизни В. А. Малаховский занимался исследованием языка Тютчева. В архиве его — большая рукопись монографии «Поэтика Ф. И. Тютчева» и картотека словаря поэта. Язык писателей, проблемы истории русского литературного языка вообще были одним из важных направлений разносторонней исследовательской деятельности ученого. Среди опубликованных работ В. А. Малаховского — статьи, посвященные языку Крылова, Пушкина, Тютчева, а также роли Белинского и Тургенева в истории русского литературного языка.

Неоценимы заслуги В. А. Малаховского в создании кафедры русского языка Куйбышевского педагогического института, в широкой подготовке научных лингвистических кадров. В первые же годы он пригласил в Куйбышев таких известных ученых, как А. Н. Гвоздев, А. А. Дементьев, С. В. Фролова. Труды кафедры были во многом определены научные и методические основы преподавания лингвистических дис-

дисциплин в вузах страны. Только за время работы В. А. Малаховского вышли в свет учебные пособия куйбышевских ученых почти по всем языковедческим дисциплинам, изучаемым на филологических факультетах: по современному русскому языку, по исторической грамматике русского языка, курсу «Введение в языкознание», стилистике. Куйбышев стал центром диалектологической работы в Поволжье.

Обладая ценным даром распознавать людей увлеченных, одаренных, В. А. Малаховский привлекал к научной работе молодежь. Ученый подготовил 50 аспирантов, среди них профессор В. Д. Кудрявцев, В. И. Собинникова, В. Н. Мигирин, В. Д. Бондалетов, Е. С. Скобликова, Д. И. Алексеев, доктор филологических наук О. Д. Кузнецова.

В 1957 году В. А. Малаховский создал и возглавил Зональное объединение кафедр русского языка Среднего и Ниж-

него Поволжья, провел в рамках этого объединения десять научных конференций. Организация коллективной научной работы, живая, доброжелательная связь с огромным количеством людей были для Всеволода Антоновича радостью, органической потребностью его деятельной природы.

За свою большую творческую жизнь В. А. Малаховский опубликовал более 120 работ — книг, статей, брошюр, рецензий (много работ осталось в рукописях). Ученый постоянно помогал школе, участвовал в работе органов народного образования, был организатором съездов учителей, автором и редактором научно-методических пособий для школы. Вдохновенная любовь к родному языку была неиссякаемым источником творческого богатства В. А. Малаховского, неутомимого труженика, талантливого организатора науки и народного образования.

Рисунок Алены Кирицовой

Т. С. Коготкова
ПИСЬМА О СЛОВАХ

Эта книга, вышедшая в издательстве «Наука» (М., 1984), построена как ответы на письма, поступающие в Институт русского языка АН СССР, с вопросами о языке. Отбор корреспонденций ограничен лексической тематикой, и это ограничение придает книге внутреннюю целостность.

Прежде всего следует сказать, что в книге представлен материал, разнообразный не только по характеру конкретных примеров, но и главным образом по тем проблемам, которые возникают и решаются при объяснении этих примеров. Автором охвачено множество вопросов, составляющих сущность многоаспектной проблематики культуры речи. В этом убеждает перечень разделов, отражающих содержание книги: «Как правильно (или правильнее) сказать (написать)?»; «Об обращениях»; «Корреспондент не согласен с тем, как употреблено слово (или выражение)»; «Можно ли употребить слово..?»; «Что слово значит?»; «Почему так говорят? Откуда пошло слово (выражение)?»

В книге рассказано о нормах произношения, написания и словоупотребления; раскрывается значение слов и выражений, их история и происхождение. При этом объяснения автора в каждом конкретном случае опираются на научную концепцию или значительные исследовательские разыскания.

Перечень рассматриваемых вопросов завершает тема — нужная и важная для самого широкого читателя — «О диалектах и литературном языке» (по этой проблеме в «Литературной газете» были дискуссии, вызвавшие большой интерес у самых разных читателей). Включение данного раздела в «Письма о словах» не только повышает актуальность книги Т. С. Коготковой, но и выполняет очень важную функцию — приобщает массового читателя к собственно научному восприятию фактов. Популяризация любой науки — всегда просветительство. Поэтому тема «диалект и литературный язык» раскрывает одну из сторон лингвистической науки, без которой просветительство невозможно. С этой точки зрения «Письма о словах» приобретают социальный смысл, способствуя общей языковой культуре всего нашего общества.

В книге рассмотрены слова и сочетания разного содержания и разной стилистической окраски: общественно-политические (*советский народ*), «обычные» (*водитель — шофер, калач, крайний — последний, потно-музыкальный отдел, сериал кинофильма* и др.), узкоспециальные (*запескованная морковь, нетель, останов — остановка* и др.), устаревшие и местные, существующие на периферии речевого употребления (*копыл, сула, рынва*).

Каждое объяснение (ответ

на письмо-вопрос) — о стилевой принадлежности слова, происхождении, правильности употребления и т. д. — дано обстоятельно и убедительно.

Можно добавить, что ответы имеют характер доверительной беседы. Т. С. Коготкова называет словари и источники, откуда почерпнуты сведения, отсылает к другим исследованиям, рассказывает о многих авторитетных ученых прошлого и настоящего, расширяя тем

самым кругозор своих читателей.

«Письма о словах» представляют собой не только серьезное достижение в популяризации знаний о русском языке, но и, показывая сложность науки о языке, утверждают особую роль ученого-лингвиста в воспитании общей культуры нашего общества.

В. Н. Хохлачева,
доктор филологических наук

Д. Э. Розенталь

ПРОПИСНАЯ или строчная?

Опыт словаря-справочника

Известный ученый-лингвист А. Б. Шапиро, занимавшийся вопросами орфографии, часто говорил о правописании наречий: «Нет ничего проще: все наречия пишутся слитно. Вопрос в том, что считать наречием...» Перефразируя эти слова, можно сказать — нет ничего проще употребления прописной буквы в именах собственных: все собственные имена пишутся с прописной буквы. Вопрос в том, что считать именем собственным. Автор словаря-справочника «Прописная или строчная?» (М.: Русский язык, 1984) Д. Э. Розенталь отмечает: «Причины подобных колебаний [прописная или строчная?] связаны в первую очередь со сложностью самого разграничения понятий собственное имя — нарицательное имя».

Поэтому первый опыт справочника, содержащего около 8500 слов и словосочетаний, — отрадное явление. Здесь географические названия, наименования государств, городов, внутригородских объектов, астрономические названия, в том чи-

сле объектов рельефа Луны, имена некоторых мифологических существ, названия предприятий, организаций, учебных заведений, учреждений культуры, а также специалистов различных областей науки, культуры, названия орденов и медалей и др. Написание их, подчеркивает автор, «представляет интерес в связи с частотностью их использования в печати и орфографическими трудностями, связанными с употреблением прописной и строчной буквы».

Из географических названий обращено внимание на те термины, которые обычно, как всякое нарицательное слово, пишутся со строчной буквы, а в составе топонима — с прописной: населенные пункты *Золотая Гора*, *Золотой Колодец*, *Зубова Поляна*, *Малые Озерки*, *Малые Рожки*, *Русский Брод*, *Рудная Пристань*, бухта *Золотой Рог*, проливы *Малое море*, *Золотые Ворота*. То же правило распространяется на астрономические названия: созвездия *Малая Медведица*, *Южная Гид-*

ра; Океан Бурь, Море Дождей, Море Облаков — объекты на поверхности Луны. Приводится написание прилагательных, образованных от личных имен и фамилий: *Одиссеевы странствия* (до издания Правил 1956 года действовали разные рекомендации — и с прописной, и со строчной).

В Словарь включены также составные названия различных политических и общественных организаций, учреждений, предприятий; названия исторических эпох, революционных праздников, знаменательных дат и др.: Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза, Центральный комитет профессионального союза работников культуры, Мандатная комиссия палат Совета Союза и Совета Национальностей Верховного Совета СССР, День Победы (Праздник Победы, 9 мая); Министерство внешней торговли СССР, Московский завод режущих инструментов «Фрезер» им. М. И. Калинина; Московское городское общество охраны природы; Московский государственный педагогический институт им. В. И. Ленина.

Для некоторых аббревиатур приведено их полное название: ВДНХ — Выставка достижений народного хозяйства. Нередко на практике встречается неправильное написание слов в наименованиях такого рода: АН СССР — Академия наук СССР (слово *наук* часто пишут с прописной из-за того, что так дается в сокращенном слове).

В конце книги читатель найдет Приложение, в котором даны рекомендации об употреблении прописных букв. Здесь приведены правила написания разных названий, в том числе таких, которые трудно найти в других справочниках: городских достопримечательных мест, железнодорожных станций, вокзалов, аэропортов, станций метро, транспортных средств, самолетов, фабричных марок машин; наград (грамот, знамен), вручаемых победителям соревнований, и др.

Словарь-справочник «Прописная или строчная?» — очень нужное издание и будет полезен всем, кто сталкивается с трудностями употребления прописных букв.

Г. П. Бондарук

Юрий
Крижанич

1618—1683

Л. Н. ПУШКАРЕВ,
доктор исторических наук

Сложна и драматична жизнь Юрия Крижанича, выдающегося общественного деятеля XVII века, писателя, философа, историка и экономиста. Он родился около 1618 года «между Купою и Вуною реками, в уездах Бихца города около Дубовца, Озля и Рибника острогов», как писал он потом в своей «Грамматике». Бихц — это современный г. Бихач в Югославии, на северо-западе Боснии. Хорват по национальности, католик по вероисповеданию, просветитель по своим устремлениям, он был страстным защитником независимости славянских народов и их права на самостоятельное национально-культурное развитие. В эниграфе к своему сочинению «Политика» он писал: «...подымаю всех днепрян, поляков, литовцев, сербов, и кто есть славянского рода воинственный муж и кто только захочет ратовать со мною!»

Всемирная история для Крижанича — это процесс упадка одних народов и возвышения других. Он полагал, что настало время объединения славянских народов. Для этого им необходимо было создать особый «всеславянский» язык. В основу такого языка он кладет церковнославянский, народный русский и литературный хорватский, добавляя ряд слов украинских, белорусских, польских и своих собственных, им самим сочиненных. По мнению Крижанича, этот язык будет понятен всем славянам: «Се есть от самих русинов, и от словинцев, и от лехов, и от чехов», «общим никоим езиком, даби от всих было вразумлено». Крижанич создал и грамматику этого языка, назвав ее «Грамматично изказание об рускому езику». Русская лексика занимает в этом языке ведущее положение потому, полагает Крижанич, что русский народ древнее всех славянских племен: «глава всем — народ и имя русское». Все остальные славяне «из земли Русской, из русинов произошли»: одни пошли из Русской земли на юг — это болгары, сербы, хорваты, другие — на запад (поляки и чехи). Русский же народ испокон веков живет на своей родине. Он создает свой язык путем сравни-

тельного изучения всех славянских языков, и именно па нем, этом искусственном языке Крижанич пишет свои сочинения. Его труд дает нам право считать Крижанича родоначальником славянского сравнительного языкознания.

* * *

Крижанич был одним из энциклопедистов XVII века. Он владел шестью языками, занимался философией, историей, политэкономией, эстетикой, историографией, музыкой, был великолепным знатоком богословия, классической литературы, византийских хроник. По сочинениям папского посла Антонио Поссевино и немецкого дипломата и путешественника Зигмундта Герберштейна Крижанич познакомился с далекой северной Московией (так тогда называли на Западе Россию) и увлекся идеей миссионерства в этой отдаленной от Рима стране. В 1647 году ему удается совершить путешествие в Россию: он провел этот год в Смоленске, а в конце его три месяца в Москве, где виделся с царем Алексеем Михайловичем и патриархом Никоном.

Возвратившись из краткого путешествия в Москву, Крижанич прожил два года в Варшаве, а в 1650 году посетил Константинополь с послом австрийского императора в качестве капеллана (священника домашней католической церкви) и секретаря. Затем до 1658 года он жил в Вене и Риме. В 1657 году он ездил в Венецию для встречи с русским посольством и вновь увлекся идеей посетить Россию. Он отправляется в Московское государство кружным путем — через Вену, Перемышль, Львов, Дубну, Переславль и Нежин и приезжает в Москву 17 сентября 1659 года. В России Крижанич намеревался выполнить несколько задач: исправить славянский язык, который, как он думал, «прехудо есть осквернен, смятен, извращен и мало не весь до конца изгублен»; «историю годну справить», то есть стать придворным царским летописцем; написать сочинение «О царском именовании» и стать переводчиком «полезных книг», в частности, издать славянскую Библию «без блудов, чисто».

Но в Москве не приняли его широкой программы, поручив только работу над славянской Грамматикой. Крижанич пытается сблизиться со сторонниками западного просвещения в России боярами Б. И. Морозовым и Ф. М. Ртицевым, монахами Елифанием Славинецким и Симеоном Полоцким, но все его попытки видимых результатов не дали. Более того, в 1661 году в беседе с «неким человеком» сказал он «некое глупо слово», и за то слово был сослан в Сибирь, в Тобольск, где пробыл 15 лет. Крижанич получал довольно крупное по тем временам жалованье — 7 р. 50 коп. в ме-

сяц — больше, чем обычные служилые люди. Его не принуждали к работе, ничем не стесняли, и он жил, как он сам писал позднее, «всему миру безделен, некористен и непотребен. Никто же бо от мене не испрашивает никакова же рукоделия, ни послугы, ни совета, ни помощи, ни работы, а божия и царска милость питает ме тако бездельна, будто нику скотину в котцу...»

За время своей вынужденной ссылки Крижанич создал большое количество философских, исторических и лингвистических трудов, среди них «Политика» (1633—1666), «О божием смотреию» (1666—1667), «Толкование исторических пророчеств» (1674) и др. В них он подробно разбирает различные стороны современного ему русского общества и выработал широкую программу преобразований в Русском государстве. Она была направлена на укрепление государственной власти и идеологически подготавливала грядущие реформы начала XVIII века. Крижанич призывал царя укрепить государственный аппарат, реформировать армию, освоить новые виды сельскохозяйственной и промышленной продукции, перестроить торговлю, вырвав ее из рук иностранцев. Скованный узами католицизма и средневековой схоластики, Крижанич мыслил категориями нового времени, и в этом, в частности, заключался трагизм его положения. Он пришел в Россию в сложную переходную эпоху и не нашел своего места в стране, раздираемой расколом и неспособной в то время осуществить его далеко идущие политические и экономические замыслы.

Много раз просил Крижанич вернуть его из ссылки в Москву, но просьбы его до царя не доходили. Лишь после смерти Алексея Михайловича Крижанич 5 марта 1676 года выехал в Москву. Здесь он передал многое из написанного им в ссылке новому царю Федору Алексеевичу. В особую заслугу себе Крижанич ставит работу по составлению Грамматики, над которой трудился 22 года. В челобитной царю (9 окт. 1676 г.) он пишет: «Я бо от детинства своего, оставивши печали о всяком ином житья устроению, удался есм всим сердцем на едино мудростно искание, и на нашего скаженого, а правее згубленого языка исправляние, свитланье и совершанье». Крижанич бьет царю челом и просит отпустить его на родину. Через год, в январе 1678 года, вместе с датским посланником Габелем он покидает пределы России, а весной 1678 года прибывает в Вильну, где принимает монашество под именем Августина в местном доминиканском монастыре. Там ему поручили написать записки о том, что собой представляет Сибирь, о которой в Европе ходили самые противоречивые слухи. Завершив работу над «Историей Сибири», Крижанич выехал в Рим в 1683 году, но вернуться на родину ему не довелось. По дороге в Рим он оказался в Вене и

«при осаде Вены турками, находясь в польском войске, пал в сражении», — сообщал о нем известный географ и путешественник Н. Витсен в своем сочинении «Северная и восточная Татарии».

Так завершил свой жизненный путь философ и мечтатель, написавший о себе: «Первый и един из моего народа появившихся некористен мудрости искатель, и за сей мой подвиг в бедности прежилох или паче згубих весь свой временный живот» (т. е. жизнь).

* * *

Выдающимся славянским патриотом и передовым для своего времени общественным деятелем, знатоком славянских языков, горячим поборником всеславянского единства вошел Крижанич в современную историографию. Его труды отобразили реальную историческую жизнь России второй половины XVII века. Они могут служить источником познания этой жизни.

Творчество Крижанича следует рассматривать в русле изучения общественной мысли не только Русского государства, но и шире — в рамках всеславянской общественной мысли. Оно было высоко оценено С. М. Соловьевым, Н. И. Костомаровым, В. О. Ключевским, А. А. Шахматовым, Г. В. Плехановым. Анализ его трудов посвящены видные исследования зарубежных славистов. Оценке места Крижанича в славянской культуре и общественной мысли были посвящены доклады и выступления на Международных съездах славистов в Москве, Праге, Белграде, Киеве. В сентябре 1983 года в Загребе (Югославия) состоялся специальный симпозиум, посвященный 300-летию со дня его смерти. В настоящее время Югославская Академия наук и искусств (Загреб) приступила к изданию полного собрания сочинений Крижанича, в котором будут принимать участие и советские историки.

От коврижки до марципана

Г. В. СУДАКОВ,

кандидат филологических наук

Пышные пироги с вкусной начинкой издавна царствовали на русском столе, их подавали вместе с первыми и вторыми блюдами, ими угощали и после напитков. За беседой, перед едой и во время обедов на стол ставили также сладкие «заедки»: печенья, сахарные изделия, фрукты. Печенья и пряники в старой Руси пекли из крутого сдобного теста, в которое клали мед, пряности и другие добавки.

Разберемся в многообразии названий старорусских печений. Наименования им давали с учетом формы изделия и основных добавок к тесту, например: *листки, колоб, шишки, мисни, хворост, ядро, орешек, жаворонок, кольцо, зук, воронок, ельцы, попугай, катки, пряник, медовник*. Не выяснены этимология или принцип номинации у слов *коврижка, котлома, марципан*. Отличаются эти названия и временем появления в языке. Самое древнее среди них — *коврижка*, другие впервые замечены в текстах XVI—XVII вв.

Слова с корнем *ковриг-* составляют целую группу названий с близкой семантикой: *ковриг, коврига, коврижка, коврижечка*. Слова *ковриг, коврига* представлены также в белорусском и болгарском языках. Происхождение корня *ковриг-* до сих пор не выяснено. Слово *ковриг* — «хлебное изделие определенной формы» наблюдается в летописных текстах с XV века. *Ковригой* называли хлебное изделие круглой формы, это слово употребляется в письменности с 1377 года. Уже в тот период оно было общерусским и часто фигурирует в сочетании *коврига хлеба*.

Распространено в старорусской письменности слово *коврижка*, по не как уменьшительное к *коврига*, а в качестве специального названия круглого пряника: «И великий государь жаловал всех водкою, а заедали ковришками и яблоками» (Москва, 1672 г., Дворцовая записка по случаю рожд. Петра Великого), «Гаврилу Семпову прянишнику плачено за 2 белые ковришки да за 2 черные 20 алт. Ивану Гаврилову, зырянину, за красную икру за 5 безмен дано 13 алт. 4 д. А отнесены те пряники и икра владыке» (В. Ус-

тюд, 1682 г., книга пр.— расх. архиер. дома). Обратим внимание в последнем примере на синонимию слов *коврижка* и *пряник*. Существовали составные наименования со словом *коврижка*: *коврижка вяземская* — «изделие определенных вкусовых качеств» названа по месту первоначального изготовления, *коврижка сахарная* — «пряничное изделие из сахара, украшенное наверху узором», *коврижка родильная* — «ритуальное круглое печенье». Эпизодически употребляется в текстах форма *коврижечка*, например: «Да посылала я к тебе, свет мой, коврижечку, и тебе бы, батька мой, кушать на здоровье» (1682 г., Частная переписка кн. П. И. Хованского, его семьи и родственников).

Пряник образовано от *пряный*, наблюдается в письменности с 1580 года: «Купил пряника отдал тот пряник священнику Нифонту» (Двин. у., 1580 г., книга пр.— расх. Ант.— Сийского монастыря), «Купил в пряники перцу» (Вологда, 1644 г., книга расх.— архиер.). В русско-немецком разговорнике Т. Фенне, написанном в Пскове в 1607 году, обнаруживаем еще более архаичную форму *пепраник* (ср.: *пъльрь* — «перец», *пърянный* — «перечный»). *Пряник* — «печенье на меду, патоке, с разными пряностями» первоначально известно только на севере (Подвинье, В. Устюг, Вологда, Тихвин, Псков), с середины XVII века отмечается в среднерусских и южнорусских текстах. В севернорусских источниках засвидетельствовано уменьшительное *пряничек*. Пряники благодаря наличию в них пряностей применяли при варке *ухи назимовой*: «Купил Трет(ь)як Сидоров в назимовыя ухи пряник белой да другои черной» (Вологда, 1644 г., книга пр.— расх. архиер.).

С начала XVIII века *пряник* отмечается в словарях, что свидетельствует о закреплении слова в языке, при этом тоже подчеркивается семантическая близость его со словом *коврижка*: «Пряник или коврижка» (Рукописный лексикон первой пол. XVIII в. Л., 1964).

При раскатывании готового теста печенье придавали самые разнообразные формы: животных, птиц, рыб, растений, овощей и фруктов, грибов, различных предметов. Вот какую живописную картину представлял стол, уставленный горячим печеньем: «Масленские есты: блюдо хворосту, блюдо мисеннова, блюдо орехов, блюдо груздей, блюдо древец, блюдо елец, блюдо ядер, блюдо шишек чешуйных, блюдо рыжиков, блюдо орлов, блюдо львов, блюдо раков, блюдо гриф, блюдо репьев, роца красная цветная» (Москва, 1664 г., царский стол — Дворцовые разряды, т. 3, СПб., 1852).

Остановимся на истории некоторых названий.

Слоеное печенье в форме листьев носило название *листки*, оно отмечается в царском и монашеском быту с конца XVI века: «А коли короваи, или лисни, или с рыбою короваи, тогда калачей нет» (Волоколамск, 1591 г., столовый обиходник Иосифо-Волоколам. монастыря). В Словаре Даля *листенъ* — «род листового пирожного, сканое, раскатанное» не имеет территориальной пометы.

Слово *колоб* представлено только в русском языке, общепринятой этимологии не имеет. Отмечено как имя собственное в начале XVI века — Колоб Перепечин. Готовили колоб по такому рецепту: «На блюдо колоб, а в нем 3 лопатки муки крупичетые, 25 яиц, 3 гривенки сала говяжья» (Москва, 1613 г., роспись цар. кушаний). Уменьшительное *колобок* также представлено в старорусском языке, в частности, в «Житии протопопа Аввакума»: «Иногда пришлют кусок мясца, иногда колобок, иногда мучки и овсеца» (Изборник. М., 1969). *Колоб* — *колобок* употребляется в современном литературном языке и говорах, обозначая различные виды печеных изделий.

Русское *шишки* — «печенье в виде шишек» имеет аналогию в чешском языке (ср. *šiška* — «шишка, кнедик; вид булочки»). Отмечается в текстах с 1597 года, как и *ядра* — «печенье в виде ядер»: «Блюдо ядер, блюдо шишек чешуйных, блюдо мисенного». Название *шишки* в значении «род печенья» известно позднее во владимирских говорах.

В «Домострое» по списку второй половины XVI века среди печений упомянуты «хворосты, орехи, елцы, ядра, мисенное». Слово *хворост* — «печеное изделие в виде кустарника» известно с XVI века: «Принесли на блюдах пряженье хворостов пшеничных да вареного барана» (1691 г., стат. список посольства Головина), «Блюдо хворостов под сахаром. Хворосты мисенные» (Москва, 1698 г. — Расх. книга Патриаршего приказа кушаньям... СПб., 1890). Хворосты популярны в XIX веке, это печенье, кипяченое в масле, чаще сухое.

Орех, орешек — «печеное изделие в форме ореха» наблюдается в письменности тоже с XVI века. *Ельцы* — «печеное изделие из теста в форме елочки», но здесь возможно и несколько иное, по близкое объяснение: «Ельцы, *западное* — украшение на свадебном каравае из теста, столбиками, узором в елку» (Словарь Даля).

Мисенное, мисны ведет происхождение от *миса* — «разновидность посуды, в которой готовили или подавали печенье особого вида». Как видно из предыдущих примеров, в качестве *мисенного* могли фигурировать хворосты и другие разновидности печенья, известно оно и как особый вид печенья: «2 блюда мисен под сахаром». В XIX веке *мисенное* известно в нижегородских говорах, вот

как об этом рассуждают герои романа Мельникова-Печерского «В лесах»: «— А из мисенного что на двор укажешь? — Разве оладьи с медом да пряженцы с яйцами».

Жаворонок — «печенье в виде птицы» наблюдается с 1613 года, но слово значительно древнее своей первой фиксации в письменности, так как обычай выпекать булочки в виде птичек к некоторым языческим и христианским праздникам существовал на Руси издревле. Пока слово *жаворонок* с указанным значением отмечено только в московских текстах: «На блюдо жаворонков, а в них 2 лопатки муки крупчатые, 20 яиц, 6 гривенок масла коровья» (Москва, 1613 г., царский стол — Акты истор., т. 2, СПб., 1841). По данным картотеки «Словаря русских народных говоров», *жавората*, *жаворонка*, *жаворонок* — «булочка в виде жаворонка» наблюдаются в костромских и средневожских говорах.

Единичными примерами представлены в текстах слова локального характера: новгородское *зук* и московское *воронок*: «10 000 пряников зуиков, цена всем 35 ефимков» (В. Новгород, 1663 г., роспись товаров — Рус.-швед. экон. отношения в XVII в. М.—Л., 1960), «Приказные есты: 2 блюда сырников, 2 блюда воронок, 2 блюда блинков» (Москва, 1667 г.— Забелин И. Е. Дом. быт рус. царей в XVI и XVII ст., М., 1915). *Зук* и *воронок* известны в говорах как названия птиц.

В конце XVII века появляется печенье в виде попугая: «С Хлебного... 2 блюда попугаев, блюдо жаворонков, папошник с кориною» (Москва, 1700 г.— Забелин И. Е. Дом. быт русских царей...).

С начала XVII века известно по данным московской деловой письменности *колючко*, *кольцо* — «печеное изделие из муки в форме кольца»: «В кушанье государю патриарху подавали хлебец ситпой да колючко маленькое крупчатое» (Москва, 1623 г.— Стольная книга патр. Филарета. СПб., 1906), «А государыне царице кушанье подавано в хоромы: кулич недомерок, кольцо полхлебца» (Москва, 1643 г., чин свадьбы ц. Ал. Мих.— Древн. рос. вивлиофика, 1773). *Кольцо* — «кондитерское изделие» хорошо известно в современном русском языке.

Пирожок, напоминающий по форме копытце, получил соответствующее название *копытце*, кстати, не зафиксированное историческими словарями: «Пирог с яблоки. Пирожки копытца» (Москва, 1691 г., стол патриарха — Забелин И. Е. Материалы для истории, археологии и статистики г. Москвы, М., 1884), «3 пирога копытца с соком» (Москва, 1699 г.— Расх. книга Патриарш. приказа кушаньям... СПб., 1890). В костромских говорах ватрушку до сих пор называют *копытцем*.



Печенье в виде шариков получило название *катки*, *каточки*, например: «С Хлебного двора хлеб белой, блюдо катков больших, 12 каточков малых, каравай здобной» (Москва, 1700 г.— Забелин И. Е. Дом. быт русских царей). В исторических словарях данное значение пока не зафиксировано. Слово *каточки* — «маленькие круглые шарики из теста» известно в калужских говорах (Словарь рус. народн. говоров, вып. 13, Л., 1977).

Вероятно, в XVII веке употреблялось слово *медовник* — «медовый пряник», замеченное только в лексиконах той поры, известно оно русскому языку и позднее (Словарь Даля).

Котлома — «печенье из теста с добавкой патоки, яиц и масла» — возможное тюркское заимствование, в русской письменности наблюдается с 1604 года: «Да есты послано... четверть коровая телного, котлома, грудноши с сыром» (Москва, 1604 г., прием послов — Белокуров С. А. Сношения России с Кавказом. М., 1889), «На блюдо котломы, а в них 5 лопаток муки крупчатые, 2 гривенки патоки, 25 яиц, 10 гривенок масла коровья» (Москва, 1613 г., царский стол — Акты истор., т. 2, СПб., 1841). В наше время слово существует в донских говорах: «Котлома — род пирожков, рулет из



сладкого теста, слоеная тонкая лепешка в трубке, слоеная пышка».

Во второй половине XVII века русские узнали слово *марципан*, которое было заимствовано с соответствующим пирожным, его значение — «печеное изделие из теста, изготовленного из орехов, масла и т. п.». Слово заимствовано через немецкий язык из итальянского, а здесь в свою очередь из арабского (Словарь Фасмера). Приведем первые употребления слова: «Марципан сахарной большой на пяти кругах. Другой марципан сахарной же леденцовой» (Москва, 1672 г., Дворц. зап. по случаю рожд. Петра Великого); «Пирог марцыфан, пирог с дулями» (Москва, 1683 г., запись — Пам.



диплом. сношений с Рим. импер.). Упоминается *марципан* в «Истории о великом князе московском» Курбского по списку XVII века. В XVIII веке *марципан* — «сахарные закуски» находим в лексиконе Э. Вейсмана.

Рассмотрим изделия из крутого теста, которые пекли без добавки пряностей. Они получали в русском языке названия по форме: *рогуля*, *витушка*, *баранок*. Иноязычным заимствованием является слово *сайка*.

Рогуля — «пряженный крендель, калач с рогами»: «В трапезе на братию рыба в сковродах свежая да рогули пряженные» (1591 г., столовый обиход. И.— Волоколам. монастыря). Слово наблюдается и в актах Кирилло-Белозерского монастыря со значением «род калача, кренделя с рогами, ватрушка, защемленная с краев рожками».

Витушка, *витик* — «маленький пшеничный калач из витого теста» наблюдается в письменных источниках, связанных с востоком севернорусской территории: Холмогоры, Вологда, Великий Устюг, Сольвычегодск, Онега, Енисейск. Например: «Вологжанин Данило Калинин с Вологды явил продать... 2 меры калачей мелких витушек» (В. Устюг, 1651 г.— Таможен. кн. Москов. гос-ва), «Вологжанин Елизарей Козьмин с проплавного судна явил продать 200 огурцов да мелких витиков колачииков 3000» (В. Устюг, 1663 г.—

там же). В то же время в актах других территорий отмечается свободное сочетание *витый калачик*, свидетельствующее о том, что подобные калачи были территориально распространены шире, чем название *витушка*: «Куплено у колачника пшеничных витых две тысячи колачиков» (В. Новгород, 1651 г., книга расходов митрополита). Позднее *витушка* — «род калача, свитого из теста», обнаруживается в севернорусских, среднерусских и некоторых южнорусских говорах, *витик* в говорах не наблюдается.

Слово *баранок* — «крендель» по распространенной версии восходит к глаголу *обварити* (ср. украинское *обарінок*, белорусское *абаранак*, польское *obwarzanek*); позднее происходит сближение со словом *баран*. *Баранок* впервые зафиксировано в актах Иверского монастыря (на Валдае) и имело, вероятно, первоначально местный характер: «Куплено братии в селе Богородицине боранков и яиц на десят алтын» (Валдай, 1665 г., книга приходно-расходная Иверского монастыря). *Баранок* — «крендель» обнаруживаем в ряде севернорусских и среднерусских говоров: новгородских, псковских, тверских, ярославских.

Сайка — «булка из крутого теста» — заимствование из эстонского, этим объясняется первоначальное бытование слова на западе России: «Куплено... 30 костоголовцев дано семь денег, сайка денга» (В. Новгород, 1600 г., книга пр.-расх. Соф. дома); «Куплено в Никольском хлебов и колачей и сак на 2 рубли» (Москва, 1683 г., — Пам. диплом. сношений с Римскою импер.). В языке XIX века *сайка* употребляется без территориальных ограничений.

В судьбе хлебных названий *пряник*, *колобок*, *калач* и т. п. отразились история русского языка, история отечественного хлебопечения и традиции русского гостеприимства.

В конце XVIII века появился «Словарь поваренный, приспешничий, кандиторский и дистилляторский». Левшина в семи частях, он дает хорошее представление о составе «кондитерской» лексики того времени. В качестве примера приведем несколько рецептов:

Тысячелетний пирог

Двенадцать золотников [золотник составляет около 4 г.— Г. С.] масла коровьего и столько же весом толченого миндаля, четыре яйца целых, полфунта сахару, полфунта муки крупчатой и корку с одного лимона стирать, пока сделается как сметана. Налить подобием круглой лепешки на жечь, воском натертую, и запечь в вольном печном духу,

Сахарные кудри

Замесить на блюде полфунта муки крупчатой и полфунта сахару на яичных белках в жидкое тесто. В малой кострюльке распустить сала и слегка разгорячить; в оное пускать тесто сквозь лейку, имеющую решеточку, и наливать, вода лейкою по всей кострюльке; обжарив с одной стороны, перевернуть на другую; а вынув, согнуть на скалку и посыпать сахаром.

Сметанное пирожное

Возьми полтора фунта муки, полфунта масла коровьяго, четверть фунта сахару, хорошей сметаны и желтки от восьми яиц; замеси на пекарном столе из онаго хорошее тесто и перебивай оное, пока начнут пузыри появляться; тогда оное раскатать, и два раза перегибать, и опять раскатывать, как то делают со слоеным тестом. После чего раскатать как возможно тонее, высечь из онаго формою розы или иныя фигуры; сделать на них гласс из белков, посыпав сахаром и корицею; запечь в вольном печном духу.

Тунеядцы

Взять фунт масла коровьяго, фунт муки. 3 золотника корицы, полфунта сахару, полфунта столченаго миндалю, шесть яиц целых и от четырех желтки, замесить на столе из всего сего тесто, раскатать оное, высечь резцом фигуры и запечь в вольном духу.

Калачи сахарные

Стереть 36 золотников масла коровьяго с двумя яйцами целыми и тремя желтками, 36 золотниками сахару, а напоследок полфунтом муки и коркою с одного лимону; выложить калачиками на жестяной маслом вымазанной лист и запечь в вольном печном духу.

«Уди и части телу»

Г. С. БАРАНКОВА.

кандидат филологических наук

О многочисленных и разнообразных анатомических названиях, известных с древнейших времен, мы можем судить по русским спискам переводных памятников и оригинальных произведений, содержащих естественнонаучные знания. Среди этих источников следует назвать «Изборник Святослава 1073 г.», «Шестоднев» и «Богословие» Иоанна экзарха Болгарского, «Диоптру» Филиппа Пустычника, «Хронику» Георгия Амартола, переведенную на Руси в XI веке, «Толковую Палею», составленную на Руси в XIII веке и представляющую собой компиляцию по ряду источников. В XVI—XVII веках на Руси появляются и получают широкое распространение переводные «Лечебники», в которых содержатся рекомендации по применению лекарственных средств от той или иной болезни.

В ранний период сведения по медицине существуют среди других естественнонаучных знаний в пределах единой науки о природе, носящей название *естествословие*. Человек, занимавшийся лечением больных, назывался по-разному: *врач, лечец, реже балии*. При этом книги, которыми он пользовался, носили название *врачебных книг*.

С древних времен врачебное искусство оценивалось высоко: «Врачество есть хитрость, мера здравствующим и исцелительство болящим., врач есть естеству служитель и в болезнях подвижник» (Сб. Троице-Серг. лавры, XVI в.).

В «Изборнике» 1076 года содержатся наставления больным, которые должны без утайки рассказывать врачу о своих болезнях: «...вред бо плотный обавляем врачом исцелет а таймы велику страсть творит и потом смерть» (л. 242), то есть телесная болезнь, о которой рассказано врачу, вылечивается им, а болезнь, скрываемая от него, приносит страдания и затем смерть. В «Изборнике» 1076 года прямо говорится, что «убегати врачевныя пользы пориво упрямо есть» (л. 114).

Жизненный опыт и многолетние наблюдения показывали, что уберечься от болезней можно, сохраняя душевное равновесие, о чем

и сообщается в памятниках: «О всяком деле буди бодр и всяк недуг не приступит к тебе». Интересно, что издавна рекомендуется вести умеренный образ жизни, воздерживаться от переедания: «Во мнозе бо брашне недуг бывает и пресыщение до кручины доидеть, пресыщением бо мнози умроша» (от обильной еды бывает болезнь, пресыщение доводит до заболевания, от пресыщения многие умерли). В этом отрывке из «Изборника» 1076 года обращает на себя внимание слово *кручина*, употреблявшееся в древнерусском языке не только в значении «горе, печаль», но и для обозначения желчи, а также для названия различных заболеваний, связанных, по представлению средневековой медицины, с избытком желчи.

Умение лечить требовало определенных знаний о строении человеческого тела, функциях внутренних органов. В памятниках письменности уделяется большое внимание их описанию. Своеобразным анатомическим трактатом можно считать часть текста VI Слова «Шестоднева» Иоанна экзарха Болгарского, являющегося одним из наиболее полных в древности анатомических описаний. Во многом он заимствован Иоанном у Аристотеля. В свою очередь, фрагменты анатомического содержания из «Шестоднева» вошли в «Толковую Палею».

Внутренние органы по-разному назывались в переводных и оригинальных произведениях: это — *уди плотныя, сосуды удесныя, уди и части телу и различныя кости, члены*. Названия внутренних органов, костей, кровеносных сосудов, нервов, употреблявшиеся в древности, во многом отличаются от используемых сейчас наименований. Часть из них являлась общеславянской по происхождению, другие анатомические названия представляли собой церковнославянизмы, которые постепенно заменялись и перерабатывались на русской почве. Как правило, в древнерусском языке существовало несколько слов, обозначающих одно понятие. Сопоставление анатомических терминов, прослеживаемое по спискам разных памятников, позволяет увидеть, как складывалась в русском языке эта группа названий.

Плюща — клюща — душник — легкое

Слово *плюща*, употребляемое в ранних памятниках — «Хронике» Георгия Амартола, «Шестодневе», встречается еще в XVII веке. В списке 1406 года «Толковой Палеи» находим слово *клюща*, повторенное и в других списках этого памятника. В другом переводном сочинении — «Вопросах и ответах Сильвестра и Антония» — встречается словосочетание *кличныи состав* (состав легких). Наличие этого словосочетания, а также современного сло-

ва *ключица*, дает возможность (правда, с некоторой долей сомнения) считать, что в списках «Толковой Палееи» слово *ключца* не простое искажение слова *плюща*, а замена церковнославянизма русизмом. Синонимом этих слов является *душник*: «Папшик (горло), душник гортань и язык и зубы и устьяны яже и глас (голос) свершен сотворяют». Слово *душник* встречается в «Диоптре» Филиппа Пустышника. В памятниках XVI—XVII веков появляется слово *легкое*: «Делаются чирьи и различные болезни в легком и печени» (Назиратель, XVI в.), «и легкое от лишних мокрот храковых вычищает» (Лечебник, XVII в.). Слово *легкое*, закрепившееся в русском языке, связывается с прилагательным *легкий*. В Словаре М. Фасмера дается следующее объяснение его происхождения: «При разделке туши съедобные внутренности кладутся в посудину с водой, причем легкие остаются на поверхности воды, а сердце и печень погружаются» (Фасмер М. *Этимологический словарь русского языка*, т. II, с. 474).

Ятро — печень

Слово *ятро* употреблялось в церковнославянском и древнерусском языках большей частью во множественном числе и обозначало «печень» — «о десную страну (с правой стороны) лежат ятра, акы круговатом образом суща» (Шестоднев, XV в.). Исторические словари фиксируют употребление слова *печень* с XV века. Примечательно, что слово *ятро* могло называть в русском языке другой внутренний орган — почки, о чем свидетельствует пояснение в списке «Шестоднева» XVII века: *ятра* — почки. В этом случае можно было бы говорить об ошибке писца, однако в «Азбуковнике» (словаре) XVII века находим то же толкование: *ятра почки утробныя*. Возможно, перенос значения у слова *ятра* связан со вторым, более общим его значением — «внутренности». Этот перенос мог осуществляться следующим образом. От наиболее общего значения слова *ятра* — «внутренности вообще» возникло частное значение — «один из внутренних органов», которое могло далее закрепиться не только за печенью, но и за почкой. Известную роль в возникновении нового значения мог играть морфологический показатель — форма множественного числа, ведь печень — единственный, а почки — парный орган в организме.

Исто — бубрег — лядвия — ятро — почка

Для обозначения почки в древнерусском и церковнославянском языках использовался целый ряд наименований. В «Шестодневе», «Словах» Григория Назианзина встречается слово *исто*, в «Хрони-

ке» Георгия Амартола — *лядвия*, в «Диоптре» Филиппа Пустынника — *бубрег*. Уже в XV веке употреблялось слово *почка*, его находим и в «Назирателе» (XVI в.), и в «Лечебнике» (XVII в.).

Селезеня — раст

Для именованя селезенки с ранних пор использовалось слово *селезеня* и его варианты *селезень*, *слезеня*, *слезина*. Менее распространено было слово *раст*, также называвшее этот орган и впоследствии утратившееся в русском языке: «некто отец растом своим болé» (Патерик Синайский, XI в.).

Сырище — стомах — утроба — желудок

В древнерусском языке долгое время существовал ряд названий для обозначения желудка. Это слово *стомах*, непосредственно заимствованное из греческого языка, а также *сырище* и *утроба*: «и ятро и сырище и прочая все ятробныя части» («Диоптра» Филиппа Пустынника, XV в.). Разные названия одного органа могут быть представлены в одном списке памятника. Так, в «Изборнике» 1073 года находятся слова *сырище* и *утроба*, в «Лечебнике» встречаются слова *стомах*, *желудок*, а также образованное от последнего слова прилагательное *желудковьи*: *о желудковои болезни*. По-видимому, с ранних пор в древнерусском языке употреблялось и слово *желудок*, со временем закрепившееся в русском языке для обозначения этого органа.

Поскольку слово *стомах* являлось заимствованием из греческого, переводчики использовали его в значениях, которые оно имело в греческом языке, а именно: «горло, основание горла», «желудок». Наблюдается интересное явление, когда анатомический термин обладает двузначностью: с одной стороны, он служит для обозначения желудка, с другой — для наименования горла (начала пищевода и дыхательных путей). Во втором значении грецизм *стомах* употребляется в «Шестодневе» Иоанна экзарха: «Ея же сопрежде гортань ся зовет, а зад уста сырищная, сего же хряставочное и переднее им же возглашаем и въздышем, а мясное стомах все внутрь уду пред хрептом» (Шестоднев, XVII в.). В этом отрывке обращает на себя внимание словосочетание *уста сырищная*, служащее для обозначения пищевода. Это обозначение подчеркивает место пищевода в системе пищеварительного тракта: располагаясь между глоткой и желудком, пищевод является входом в желудок, его «устаи». В другом месте «Шестоднева» в этом же значении употреблен грецизм *исоофаг*. В «Шестодневе» отмечается хрящевое

строение гортани, расположенной между глоткой и трахеей. Для обозначения хряща используется слово *хряставок*, производным от него является прилагательное *хряставочный*.

Мозг — можден (мождени)

Оба слова с древности употребляются в памятниках в значении «мозг». В «Толковой Палее» находим только слово *мозг*; при этом в тех случаях, когда текст заимствован составителем из «Шестоднева» Иоанна экзарха, в котором встречается слово *мождени*, наблюдается последовательная замена *мождени* на *мозг*. В древнерусском языке существовало и словосочетание *главной мозг*: «и мозг главной укрепляется» (Лечебник, XVII в.), «яко же потребно есть с главным мозгом» («Диоптра» Филиппа Пустытника, XV в.).

Сердце

Пожалуй, это одно из немногих анатомических названий внутренних органов, которое не варьируется по спискам памятников. С натурфилософским представлением о сердце как главном органе, лежащем в глубине организма и управляющем человеческим телом, связаны разнообразные значения этого слова: «середина, сердцевина, дух, душа», «помысл, мысль», «чувство», и, наконец, «сердце, один из органов тела» (Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка. Т. III, СПб., 1912). Интересна анатомо-физиологическая характеристика этого органа, данная в «Шестодневе» Иоанна экзарха, свидетельствующая об уровне медицинских представлений в средневековье: «Имать же и сердце кровь по в себе токмо яко же ина утроба не имать», то есть указывается, что полость сердца заполнена кровью и это отличает его от других органов. Далее говорится о разделении сердца на три части, называемые *чревесами*: «Имать же три чревеса, о десную (справа) вичшее (большее), меньшее же о левую страну, между тема же среднее, у плющу же малии те чревеса кончатся» (Шестоднев, XVII в.).

В «Толковой Палее» обращает на себя внимание словосочетание *клетчатание сердечное* — «биение сердца». В том же значении употреблялось слово *тпание* (сердца): «Тпания его яве назнаменует яко же прекланяется паче на левую страну» — биение сердца показывает, что оно более наклоняется на левую сторону (Шестоднев, 1263 г.), В «Лечебнике» встречается словосочетание *сердечное биение*.

К группе терминов, служащих для обозначения кровеносной системы, относятся названия кровеносных сосудов: *артирия* — *кровоавица* — *жила* — *флева*.

Слова *кровоавица* и *артирия* синонимичны в одном из своих значений — «кровеносный сосуд, артерия»: «каждо имуть свою кровоавицу простерту от великия кровавыя жилы» (Шестоднев, XVII в.), «...и расходятся тако яко и артирия по всем плющам» (Шестоднев, XV в.). Вероятно, более употребительным в этой паре терминов было слово *кровоавица*, представленное в исторических словарях по большему числу памятников, чем слово *артирия*. Интересно, что грецизмом *артирия* назывался не только кровеносный сосуд, но и трахея. Это связано с семантикой этого слова в греческом языке, где оно служило для обозначения кровеносного сосуда, дыхательного горла, трахеи.

Слова *жила* и *флева* использовались для названия кровеносных сосудов, веп: «мозг же не имат в себе присно кровавых жил» (Толковая Палея, 1406 г.), «кровь же пребывает около сердца в преграде и оттуде... приходит сквозе флевы» (Сб. Троице-Серг. лавры, XVI в.).

Крупные кровеносные сосуды носят название *великая кровавая жила*: «к велицей же кровавей жиле прилежать ятра, привешена же к ней и селезень» (Шестоднев, XVII в.).

Брод — корень

Лексическое значение слова *брод* — «брод, путь, проход» дает возможность употреблять его в терминологическом значении для пояснения анатомического понятия «канал, проход». Это слово встречается в «Шестодневе» Иоанна экзарха, кроме указанного, еще и в значении — «нерв, нервное окончание»: «броди же трие от коегождо очесе (от каждого глаза) в мождени грядут» (Шестоднев, XV в.). В «Толковой Палее» на месте этого слова находим — *корень*: «суть же корени трие от коегождо очию в мозгы грядут».

Рассмотренный материал позволяет сделать некоторые выводы. Первоначальный этап выработки анатомических названий заключается в накоплении терминологических ресурсов языка. Существует тесная связь между лексическим и специальным значениями слова. Одно и то же анатомическое понятие может обозначаться рядом названий: *стомах* — *утроба* — *сырище* — *желудок*; *селезень* — *раст*; *исто* — *бубрег* — *ятро* — *почка* и т. п.

На раннем этапе наблюдается процесс сосуществования термина-грецизма и поясняющего его славянского соответствия. Этот

прием широко использован в «Шестодневе» Иоанна экзарха: «уховная же часть знаема есть еже греческы ловоса а словенскы край ушесе» (Шестоднев, XV в.), «созда же зовомое иние еже есть тыл» (там же). Однако на русской почве грецизмы не получили широкого распространения и постепенно были вытеснены церковнославянизмами и русизмами. Об этом свидетельствуют данные поздних русских списков «Шестоднева», в которых имеются ошибки в передаче грецизмов. Так, писец списка XVII века не понял значения грецизма *иние* (затылок) и заменил его созвучным словом *иное*: «созади же зовомое иное еже есть тыл». Составитель «Толковой Палеи», включивший в нее отрывки анатомио-физиологического характера из «Шестоднева», опустил ряд терминов-грецизмов, употребленных в нем: *форакс*, *ловоса*. В то же время он заменил некоторые церковнославянизмы: *мождени* словом *мозг*, *брод* словом *корень*, вместо *плюща* поставил *ключца*.

В списках ранних переводных памятников можно видеть разнообразное фонетическое и словообразовательное варьирование анатомических названий: *селезень* — *слезена* — *селезень*, которое свидетельствует о том, что шел процесс выработки терминов. Наблюдается употребление термина не в одном, а в двух значениях, что в известной степени связано с семантикой греческих слов и является свидетельством его неустойчивости: ведь термин по своему назначению должен быть однозначным.

В более поздний период XVI—XVII веков в русском языке закрепляется большая часть анатомических названий, употребительных и в современном языке. Показательно, что русские списки поздних переводных памятников («Назирателя», «Лечебника») содержат многие анатомические названия — русизмы (*легкое*, *почка*, *желудок*, *печень* и т. п.). Однако встречаются здесь еще и некоторые грецизмы и церковнославянизмы (*плюща*, *сырище*, *стомах*), впоследствии бесследно утратившиеся.

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

«С каким ударением надо произносить слово *кариес* и каково его происхождение?»

И. Г. Степнякова, Андронов

Существительное *ка́риес* — процесс, выражающийся в постепенном разрушении ткани или кости зуба — образовано от латинского *caries* — гниль.

О Словаре-справочнике «Слова о полку Игореве»

В. Л. ВИНОГРАДОВА,
доктор филологических наук

В 1984 году, в преддверии 800-летия шедевра мировой культуры — «Слова о полку Игореве», было завершено академическое издание Словаря-справочника этого произведения.

Наш журнал обратился к доктору филологических наук В. Л. Виноградской, составителю Словаря, с просьбой рассказать о нем.

Это уже третий словарь памятника. Первый словарь Е. В. Барсова появился в конце 80-х годов XIX века; он не был закончен — доведен до буквы *М* (Барсов Е. В. «Слово о полку Игореве» как художественный памятник Киевской дружинной Руси. Т. III. Лексикология «Слова». М., 1889). Второй словарь принадлежал перу американского слависта Т. Чижевской (Čiževska T. Glossary of the Igor' Tale. Mouton, 1966). В основу его была положена реконструкция текста «Слова», сделанная Р. Якобсоном.

Советский Словарь-справочник «Слова о полку Игореве», состоящий из 6-ти томов-выпусков, начал выходить с 1965 года (Словарь-справочник «Слова о полку Игореве». Составитель В. Л. Виноградова. Вып. 1., М. — Л., 1965. Под ред. Б. А. Ларина, Б. Л. Богородского, Д. С. Лихачева. Вып. 2—1967, 3—1969, 4—1973, 5—1978, 6—1984 — вышли в Ленинграде под ред. Б. Л. Богородского, Д. С. Лихачева, О. В. Творогова).

Первый выпуск открывается вводной редакционной статьей, в которой излагаются задачи Словаря, основные принципы его построения и т. д. Затем следует канонический текст «Слова» с разночтениями, в основу которого взято Первое издание 1800 г. А. И. Мусина-Пушкина. Главную часть, собственно словарь, завершает «список сокращений», где указываются источники Словаря, использованные в данном выпуске. Выпуск, завершающий издание, содержит, кроме собственно словаря, заключительную статью «От составителя», в которой подводятся некоторые итоги работы; «Дополнения» (к 5-ти предыдущим выпускам); сводный

список источников Словаря; исправления к 1—5-му выпускам.

Жанрово-лексикографическая форма Словаря нетрадиционна. Его отличия от словаря художественного произведения или словаря языка писателя были предопределены своеобразием «Слова о полку Игореве», его особым местом среди памятников древности, отсутствием единственной рукописи, сгоревшей в московском пожаре 1812 года, наличием в нем «темных мест» и т. д. В чем же состоит специфика Словаря-справочника? В нем не только выдерживается исчерпывающая полнота словника как необходимое требование, предъявляемое наукой к словарю языка художественного произведения, но включаются «лишние» слова. Наличие их связано с проблемой «темных мест» в памятнике: слова, до сих пор не разгаданные в лексико-грамматическом плане, даются в несколько реконструируемых и предполагаемых исследователями и переводчиками формах (конечно, с большей или меньшей степенью вероятности). Например: *стрикусы* — *куса* — *кус*; *папороз* — *павороз* — *паперсть*, *паперсь* — *паропьць*; *спала* — *спалати* — *спасти* и т. п. На каждую из таких форм написаны отдельные словарные статьи. Лексика и семантика «Слова» рассматриваются на широком фоне древнерусских памятников литературы и письменности XI—XVI веков (и даже XVII) всевозможных жанров. Приводятся также параллели из восточнославянского (русские, украинские, белорусские) фольклора, русских народных говоров, отдельные данные других славянских и восточных языков. Такой широкий хронологический и жанровый фон был продиктован следующими соображениями: «Слово» было создано в XII веке, и автор его был тесно связан с предыдущей языковой и литературной традицией — с XI веком как историческим началом дошедшей до нас древнерусской письменности. «Слово» было открыто в рукописи XVI века, которая могла содержать в себе какие-то черты языковых наслоений более чем трех столетий, отделявших ее от подлинника.

Словарь-справочник «Слова» — не совсем обычный словарь отдельного художественного произведения. В нем лексикографически разрабатываются не только те значения, которые встречаются или предположительно возможны в памятнике, но и все значения и оттенки каждого слова, найденные составителем в памятниках литературы и письменности XI—XVI веков. Приведение всех значений было необходимо потому, «что невозможно заранее предусмотреть — что именно понадобится будущему исследователю «Слова». Иногда, в частности в стилистическом анализе памятника, необходимы и те значения слов, которые в памятнике не встречаются... и для решения научных споров»

(См. вып. 1, вводная статья, с 10). Этим принципом Словарь-справочник сближается с общим историческим словарем русского языка, однако отличается от последнего направленностью на свой памятник. В словарных статьях сначала приводятся значения, которые присутствуют или наиболее вероятны в памятнике, и они разрабатываются подробнее, чем все остальные.

В Словаре-справочнике были использованы две исторические картотеки русского языка, содержащие в себе огромный лексический материал из памятников XI—XVII вв.: Картотека Словаря древнерусского языка XI—XIV вв. и Картотека Словаря русского языка XI—XVII вв. Правда, вследствие специфики «Слова», обе картотеки все же не смогли полностью удовлетворить требованиям Словаря. Поэтому составителю в процессе работы пришлось расписать целый ряд наиболее значительных литературных памятников XI—XVI веков разнообразных жанров, памятников деловой письменности, сочинений церковно-религиозных и т. д. Кроме того, некоторые рукописи и издания памятников привлекались выборочно.

Для установления литературной и языковой преемственности «Слова» важно было выявить «первое» употребление того или иного слова или его значения. Поэтому были расписаны первые, дошедшие до нас памятники XI века: Остромирово евангелие 1056—1057 гг., Изборники Святослава 1073 г. и 1076 г., Минеи новгородские 1095—1097 г., Синайский патерик XI века и другие. Ранние цитаты (примеры) разыскивались также в трудах исследователей и комментаторов «Слова», в словарях, посвященных Древней Руси. Фольклорный раздел собирался по фольклорным материалам Картотеки Словаря русского языка XI—XVII вв. и Картотеки Словаря современного русского литературного языка. Были заново расписаны сборники былин и песен Кириши Данилова, П. Н. Рыбникова, А. Ф. Гильфердинга, А. Д. Григорьева, А. В. Маркова, Н. Е. Ончукова, В. Ф. Миллера, Н. С. Тихонравова, П. В. Шейна, сборник пословиц П. Симони, причитания Северного края, собранные Е. В. Барсовым, и т. д. Некоторые сборники привлекались выборочно. По украинскому и белорусскому фольклору использовались сборники народных дум и песен, украинские и белорусские словари. Диалектные материалы брались из картотек Словаря русских народных говоров, Словаря современного русского литературного языка, Псковского областного словаря, из изданных и рукописных диалектных словарей и материалов к ним. Привлекались примеры, найденные в различных исследованиях, данные словарей разного профиля: исторических, этимологических, археологических, геогра-

фических, производственных, терминологических и т. д., словарей других славянских языков. Таким образом, Словарь-справочник «Слова» цитирует в своей лексикографической части материал приблизительно из 750 названий источников. Использовался также новый вид источников — берестяные грамоты. Одним из методов составительской работы над лексикографической частью являлась «непрерывность разысканий», т. е. в каждый выпуск вовлекались все новые сведения, помимо постоянного основного ядра. Обилие иллюстративного материала и его жанровое и стилистическое разнообразие принесло хорошие результаты: из около 1000 слов памятника не обнаружено в древнерусских источниках или обнаружено только в поздних (XVII в.) лишь небольшое количество слов.

Построение словарных статей далеко не однотипно, так как оно в первую очередь подчинено «Слову» — и в этом тоже заключается специфика Словаря-справочника. Словарная статья в нем может содержать следующие компоненты: заглавное слово, количественный показатель его употреблений в памятнике, определения (описания) значений, встретившихся в «Слове» и не встретившихся в нем; цитаты из «Слова» к каждому из имеющих значения (обязательно все), поправки и прочтения (как правило, наиболее признанные в Слововедении и хорошо аргументированные); иллюстрации из памятников XI—XVI веков к каждому значению, примеры из восточнославянского фольклора, материалы из русских диалектов, справки из словарей, переводы трудных и спорных мест памятника (с 4-го выпуска), дополнительные словарные статьи, комментарии, краткая характеристика грамматических форм данного слова, употребляемых в памятнике. Обязательны для каждой словарной статьи первые четыре компонента, а также иллюстрации из памятников и краткая характеристика грамматических форм слова (исключение — наречия); остальные, так называемые добавочные материалы, вводятся в словарную статью в зависимости от их наличия, качества по отношению к «Слову», от степени их необходимости для будущих его исследователей и переводчиков. Основным материалом словарных статей, кроме цитат из «Слова», служат цитаты из письменных памятников XI—XVI веков. Таких цитат-иллюстраций здесь около 13 тысяч. По этому признаку словарные статьи разделяются на два типа: статьи, состоящие только из цитат-иллюстраций (они составляют примерно 20 процентов от общего числа), и статьи с «добавочными материалами» — они преобладают в Словаре. По первому типу описано большинство служебных слов (предлоги, союзы, частицы, междометия), мно-

гие местоимения и наречия, некоторые числительные, ряд географических названий, имен собственных и прилагательные от них (Боянь, Васильков, Брячславъ, Давыдов, Игорев и т. д.), также простые обиходные слова, понятные в «Слове о полку Игореве» (*вода, лед, жена, мать, иметь, искать*) и т. д.

Материалы восточнославянского фольклора иллюстрируют, главным образом, те значения, которые имеются в «Слове» или наиболее предположительны в нем. Чаще Словарь обращается к русскому фольклору, поскольку «Слово» дошло до нас в русской рукописи.

Диалектных иллюстраций в Словаре меньше, чем фольклорных. Здесь использованы данные только русских диалектов, но географический охват их достаточно широк, сюда входят и сибирские говоры. Однако предпочтение отдавалось говорам тех областей, где происходили события, описанные в «Слове», и где, возможно, оно было написано, а также северо-западным диалектам, черты которых носила сама рукопись. Чаще всего цитируется Словарь В. И. Даля, широко использовались областные словари прошлого века, словари начала XX века и советские; делались выписки из архивных материалов. При общем стремлении к унификации многие словарные статьи в виду большого количества многообразного материала не укладываются в единую схему. Например, есть статьи, в которых цитата из «Слова о полку Игореве» стоит сразу после заглавного слова без определения значения, вне словарной схемы. Это означает, что составитель и редакторы сомневаются, насколько точно в цитате отражается какое-либо из предложенных значений данного слова. Переносные значения толкуются после прямого. Однако изредка это правило нарушается: когда прямого значения в памятнике не найдено.

«Слово о полку Игореве» — лексически очень насыщенное произведение: из почти 1000 статей в Словаре-справочнике свыше 600 — приходится на слова с единичным употреблением в памятнике. Большинство слов многозначны. Поэтому количество значений, употребляемых в самом «Слове», незначительно по сравнению с общим их числом, представленным в Словаре. По семантическому описанию Словарь тяготеет к толковому принципу, в то же время его можно считать и переводным, и толково-переводным. Заметное место в нем занимают фразеологизмы. Наличие комментариев в Словаре-справочнике сближает его с литературоведческими словарями.

Кроме основных словарных статей, Словарь-справочник содержит еще много дополнительных. Они помещаются внутри

основных статей и даются при значениях слова с целью восполнить нехватку материала в основной статье, помочь понять «темное место» и т. д. В дополнительных статьях могут рассматриваться фонетические или морфологические варианты основного (заглавного) слова, его однокорневые синонимы, слова того же гнезда, его омонимы как разные части речи и т. п. Рубрика «Переводы» была введена с 4-го выпуска Словаря по многочисленным просьбам читателей и рецензентов. В ней цитируются переводы спорных и трудных слов и выражений «Слова о полку Игореве» (около 50 переводов на русский язык со времени первого издания до наших дней).

Важное место в Словаре-справочнике отводится комментариям, их насчитывается свыше 1000. Содержание комментариев очень разнообразно: толкования «темных мест» «Слова», лексические, семантические, этимологические, стилистические комментарии, сведения о реалиях, исторических событиях, упоминаемых в «Слове», пояснения о художественной системе, символике памятника и т. д. Это практически почти все уровни истории языка и литературы, ряда смежных наук: истории, археологии, этнографии, искусства, зодчества русского и славянского средневековья. При объяснении реалий Словарь-справочник обращался к трудам других соответствующих специальностей. В первую очередь здесь цитируются работы, написанные специалистами по «Слову о полку Игореве» (см., напр., статьи Н. В. Шарлеманя по фауне «Слова» или книгу В. Г. Федорова «Военные вопросы „Слова о полку Игореве“»). Комментирование проводится тремя способами. Самый распространенный — цитирование наиболее важных для данного слова или значения фрагментов из трудов исследователей и переводчиков. Второй способ — пересказ — применяется при комментировании объемных и очень специальных этимологических разысканий; третий — ссылки на труды различных авторов. Комментируются в Словаре, главным образом, русские и советские работы; цитаты иностранных источников даются в переводе составителя, если других переводов не существует. Украинские и белорусские исследования цитируются без перевода. Таким образом, в Словаре-справочнике «Слово» рассмотрено в широком аспекте: как памятник языка на фоне лексического состава древнерусского языка XI—XVII веков, как памятник литературы на фоне других произведений древнерусской литературы и фольклора и как памятник духовной культуры своего времени.

Из рассказов диалектолога

В. Е. ГОЛЬДИН,

кандидат филологических наук

«Где человек родился, там и годился»

Чем ближе знакомимся мы со старожилами Дубровки, тем представлялось все более странным, что еще недавно никто из нас даже не слышал об этой калужской деревне и мог бы прожить жизнь, не узнав Наталии Ивановны или Марии Леонтьевны, не поговорив с Марией Акимовной... Есть за дубровским полем село Мокрое, за ним — еще деревни, города, великое множество городов и сел, где мы никогда не были и едва ли побываем. Но то другое дело, а здесь — здесь мы были в положении счастливица, который нашел сокровище и теперь напуган мыслью, что мог пройти стороной и не заметить его.

До обеда я говорил с соседями, сделал много записей и вот сидел на ступеньках крыльца Марии Акимовны, у которой мы квартировали, грелся под июльским солнцем и разбираю свой черновик, отмечая, что нужно проверить еще раз. *Новина* — так называют здесь впервые в году собранную ягоду. Но только ли ягоду? А первые огурцы? Картофель? В других местах, бывает, зовут *новиной* новое платье, посуду и любую только что приобретенную вещь. Может быть, и здесь так?

— Мария Акимовна! Когда у вас говорят *новина*?

— А вот появилась нынче ягода — *новина*, — тотчас откликается хозяйка. Она оставляет посуду, вытирает о передник руки, садится рядом. Неторопливо рассказывает о слове и неожиданно заканчивает поговоркой: «Новая новина — в старое брюхо!». Смеется.

Разговор переходит на слово *мех*, и я многое узнаю о мехе в кузне, о мехах у гармони, о мешках, что меху родня и без которых в хозяйстве не обходятся, и в конце получаю пословицу: «Пропадет мех — и на батьку грех».

Беседа палаживается. Напомню я слово, Мария Акимовна тут же скажет, к чему его применить, что им в Дубровке называют, когда говорят, а в заключение непременно пословице или поговорке научит: «Язык — мясо, что захочет, то и слопочет; глядь — вылетает слово». Или: «У зимы рот широк — все подьедит».

Получается, как в хорошем толковом словаре: Мария Акимовна сначала «свободные» значения объясняет, употребление показывает, а потом устойчивые выражения с этим словом приводит. Каждому точное место находит, как любой нужной в хозяйство вещи: важное, жизненное применение.— Родина. Где человек родился. Моя родина в Дубровке. Я калужская, это моя родина. Где человек родился, там и годился.

Подошла соседка и молча остановилась. Вслушалась. Не перебивает, кивает только: так, мол, так.

**«Здесь вслушаться надо,
здесь надо всмотреться...»**

Слушает, бывает, диалектолог — все привычно, ясно... И вдруг чего-то не понял. Досадно? Нисколько. Напротив: это в работе счастливый момент наступил. Не понял — значит, неточно себе говор представил или временно слух притупил. Непонимание — как холодная вода, мысль и слух освежает. Здесь вслушаться надо, всмотреться, и тогда тебе непременно интересное и важное откроется, только разберись. А когда разберешься, так прошедшему своему непониманию рад, что потом долго его забыть не можешь.

Работали мы в одной северной деревне, где «чокают», *ч* и *ц* одинаково как *ч* выговаривают. *Чай* в таком говоре — *чай*, а *цельный* — *чельный*. В первые дни чоканье на каждом шагу попадалось, потом как-то реже стало встречаться. Смотрим — в записях то и дело *ц* мелькает. То ли чоканье здесь неяркое, то ли мы привыкать к нему начали, хуже его слышим, не замечаем.

Размышляю я об этом и одновременно бабушкин расказ записываю. Жила она раньше с дочерью. Дочь в сельмаге работала, не захотела больше в деревне жить, оставила мать одну, в Северовинск уехала.

— И так уж ее здесь *чинили-и-и!* — сокрушается старушка.

— За что же ее... *чинили?* — осторожно спрашиваю я, полагая, что *чинить* — это, по-местному, ругать, осуждать или что-то в этом роде.

— Хорошо работала дак. За то и *чинили!* — удивляется моей недогадливости собеседница.

Вот оно что! Попробуй теперь усомниться в чоканье, если *ценить* за *чинить* принял.

В курской деревне памятный случай с «быками» вышел. спрашиваю у встречной, как найти дом такой-то.

— Во-о-и он. Глянь-ка: у хаты два быка видно. Это ее.

На холме за огородами ряд домов. Вижу плетни, вишни в садах, колодец. А вот быков не нахожу.

— Два быка?

— Вот, вот. Два быка. Иди, иди. Она дома.

Что делать? Иду. Нашел все же дом. Разговариваем с хозяйкой. У нее, как у всех здесь, прекрасное диссимилятивное аканье: когда под ударением стоит *a*, то в слогe перед ним она *a* не произносит, заменяет его на другой звук, похожий на *ы*. Говорит *вады́* и *выды́*, *найду́* и *нышла́*. В блокноте у меня появляются *стыка́н*, *трыва́*, *гыра́*, *кызá*... Прощаюсь, наконец, и ухожу. Огородами спускаюсь к ручью. Вот и место, где расспрашивал о дороге. Обращиваюсь и еще раз смотрю на деревню. Дома стоят ко мне одной стороной и кажутся поэтому плоскими. Только хата, в которой я был, повернута несколько боком. Отсюда хорошо видны два ее ббка — «быка́», аккуратно обмазанные глиной.

«Младая роща разрослась»

Стихотворение Пушкина «...Вновь я посетил...» всегда представлялось мне чудом искренности и простоты. Удивительная точность и размеренность пушкинской речи буквально приводили в трепет. И лишь одно слово казалось здесь странным, неоправданным. Мне никак не удавалось понять его таким образом, чтобы оно соответствовало картине в целом, не разрушало бы ее. Это слово *роща*.

На границе

Владений дедовских, на месте том,
Где в гору подымается дорога,
Изытая дождями, три сосны
Стоят — одна поодаль, две другие
Друг к дружке близко, — здесь, когда их мимо
Я проезжал верхом при свете лунном,
Знакомым шумом шорох их вершин
Меня приветствовал. По той дороге
Теперь поехал я и пред собою
Увидел их опять. Они всё те же,
Все тот же их, знакомый уху шорох —
Но около корней их устарелых
(Где некогда все было пусто, голо)
Теперь младая роща разрослась,
Зеленая семья; кусты теснятся
Под сенью их как дети. А вдали
Стоит один угрюмый их товарищ,
Как старый холостяк, и вокруг него
По-прежнему все пусто,

Согласитесь, трудно вообразить рощу из кустов, которые теснятся у корней всего двух рядом стоящих деревьев. Ведь для нас роща — это небольшой, но все-таки лес. Мне казалось, что у Пушкина здесь неточная метафора.

Однако сколько же деревьев должно расти вместе, чтобы их можно было назвать рощей? Это напоминает старую задачу: «Сколько зерен нужно добавить к одному, чтобы получилась куча?». И все же: ведь три дерева — не роща? И четыре? И пять? А девять деревьев?

Примирение с этим образом наступило в одной из экспедиций. Недалеко от Онежского озера, при слиянии Мегры и Лемы, лежит деревушка Верховье. Пройдешь ее темный бревенчатый мост, повернешь направо и выйдешь за околицу. Берег поднимается здесь над Мегрой высоким крутым обрывом; горбом выгибается старая, вся в промоинах, дорога, а рядом с ней — десяток сосен. И оттого, что между их стволами светло и чисто и от сомкнувшихся их вершин шорох едва доносится до земли, все место кажется еще выше.

Стояла тут когда-то часовенка. В память об этом или ради сохранения красоты места сосны не рубят. Больше, пожалуй, — ради красоты, потому что часовню давно перевезли в Верховье и превратили в амбар. Из другой такой же сделали баньку, а там, где она была, тоже осталось несколько сосен, и их так же, как и сосны над обрывом, называют в Верховье «рощей».

Не сразу уловишь, чем местное значение слова *роща* отличается от привычного нам литературного (небольшой, обычно лиственный лес). И все же понимаешь, что в слове подчеркивается не столько величина рощи, сколько ее выделенность, «береженность», особое отношение к ней человека. Это очень близко к тому старому значению слова, которое привел в словаре В. И. Даль: «Роща — пуща, заповедный лес, заказник, ращенный или береженный лес; чисто содержимый лесок, парк...»

Поразмыслишь над этим и поймешь, что, пожалуй, и в литературной речи в смысл слова *роща* входит оттенок особой связи ее с человеком, чего нет у слова *лес*. Но в современном литературном языке этот оттенок спрятан, его еще нужно доискаться, а в говоре Верховья именно он — основной.

Видятся мне теперь старая роща из трех сосен и роща новая, подрастающая. И потому, читая стихотворение Пушкина, я выделяю ударением не *роща*, а *младая*: «младая роща разрослась».

Во всю ивановскую: площадь или мощь?

В. М. МОКИЕНКО,

доктор филологических наук

Знатоки и любители русской истории и словесности издавна ссылаются на оборот *во всю Ивановскую* (последнее слово чаще пишется со строчной буквы) для подтверждения верного в принципе тезиса о том, что язык отражает конкретно-историческую реальность. Этот оборот действительно удобен с данной точки зрения, если признать давно известную версию о связи его с колокольной Ивана Великого в Кремле.

Вот (в сокращении) один из последних очерков на «Ивановскую» тему из книги В. Б. Муравьева «Московские литературные предания и были» (М., 1981):

«Выражение „во всю ивановскую“ происходит из старинного термина колокольных звонарей „звонить во всю колокольную фамилию“, что означало звонить во все колокола, имеющиеся на колокольне. Поскольку колокольни имели названия, то по ним именовалась и „колокольная фамилия“.

„Колокольная фамилия“ колокольни Ивана Великого в Москве называлась Ивановской.

...„Иван Великий“ был не только самой большой колокольной в Москве, но и обладал самым большим количеством колоколов и к тому же самыми крупными колоколами.

...Можно представить, какой стоял гул, когда звонили во всю ивановскую „колокольную фамилию“!».

Связывая оборот с историей Кремля, некоторые толкователи предпочитают не „колокольную“, а „площадную“ версию.

На Ивановской площади, по рассказам многих популяризаторов русской фразеологии (Н. Я. Ермаков — «Пословицы русского народа», А. И. Альперин — «Почему мы так говорим» и др.), дьяки громко, во всеулышание оглашали царские указы, паказывались за взятки и лихоимство, отчего и кричали во всю Ивановскую площадь.

Наконец, в некоторых районах России пытались — по аналогии с Ивановской площадью в Москве — объяснить оборот на основе своих местных реалий. В Поволжье, например, его связывают

с Ивановской ярмаркой в селе Кресты бывшего Шадринского уезда. В прошлом веке она по торговому обороту была на третьем месте после Нижегородской и Ирбитской.

Итак, не сомневаясь в конкретно-исторической привязке к Ивану Великому или Ивановской площади, толкователи оборота предлагают два объяснения его исходного смысла: «звонить во всю Ивановскую „колокольную фамилию“», «громко кричать „во всю Ивановскую площадь“, оглашая царские указы, или кричать „во всю Ивановскую площадь“, подвергаясь телесным наказаниям».

Все они основаны на убеждении, что первичное значение было обязательно «слуховым», то есть характеризовало громкость звучания. Начнем поэтому с языковой проверки именно этой изначальной посылки.

* * *

Кроме громкости крика, оборот *во всю ивановскую* уже давно употребляется и для характеристики крепкого сна, сопровождаемого храпом: «Девка тут тоже сидит и храпит во всю ивановскую...» (Тургенев. Уездный лекарь); «Постелимся на печи да и захрапим во всю ивановскую» (Салтыков-Щедрин. Благонамеренные речи); «Спит во всю ивановскую» (Достоевский. Преступление и наказание).

В словарях зарегистрированы и такие употребления, которые весьма далеки от звуковой ассоциации. «Фразеологический словарь русского языка» под редакцией А. И. Молоткова выделяет для подобных случаев особое значение «очень быстро, со всей силой и т. п. (делать что-либо)», объединяя, правда, при этом характеристики скорости и силы: «— Эй, извозчик, вези прямо к обер-полицейстеру! Ковалев сел в дрожки и только покрикивал извозчику: „Валяй во всю ивановскую!“» (Гоголь. Нос); «Был немец громом в землю вжат; Врага железный жар знобил: По бронеколпакам сержант Во всю ивановскую бил» (Недогонов. Гильза).

В литературе можно найти еще больший «отрыв» выражения *во всю ивановскую* от колокольного звона или думных дьяков, зачитывающих царские указы: «Давно ли проезжал я по этой Червленной балке! Тогда терны цвели во всю ивановскую, белой кипенью вся балка взялась!» (Шолохов. Поднятая целина); «Тогда Мишка приналег на насос и стал качать во всю ивановскую...» (Драгунский. На Садовой большое движение).

Сталкиваясь с таким семантическим многообразием, исследователи фразеологии того или иного писателя попросту характеризуют подобные случаи как отклонение от литературной нормы — индивидуально-авторские преобразования. «Ставя фразеологизм в

необычное сочетание, — подчеркивает, например, Л. И. Шоцкая, — писатели наделяют его свойством свободной сочетаемости — Корней Горюнов дал барину своему уходить, проскакав с ним *во всю ивановскую* без одной двадцать станций. В. И. Даль, Бедовик; Спит себе *во всю ивановскую* [Трансформация фразеологизмов в прозе 30—40 годов XIX века. — В кн.: Вопросы семантики фразеологических единиц (на материале русского языка). Ч. I. Новгород, 1971]. Сочетание нашего оборота с глаголами *проскакать* и *спать*, следовательно, — вторично, индивидуально по сравнению с *кричать во всю ивановскую*.

Те фразеологи, которые обращаются к обширному конкретному материалу, опровергают такие утверждения. Так, Ф. Г. Гусейнов находит в литературе XIX века не только примеры употребления нашего оборота именно в значении «очень быстро», когда он сочетается с глаголами движения, быстрого перемещения, но и соединение его с глаголами *погулять*, *боронить* или *стараться*: «Продам-ся за тысячу, за две, прокучу их, погуляю во всю ивановскую» (Юкарев. Сибирка) [Гусейнов Ф. Г. Русская фразеология. Баку, 1977]. Иными словами, в XIX веке оборот *во всю ивановскую* вступил во фразеологическую связь с широким кругом глаголов.

Тот факт, что наше выражение не прикреплялось прочно — и только — к глаголу *кричать*, подтверждается и словарными данными. Даже в Словаре В. И. Даля, который по традиции считал его исходным вариантом «колокольное» *звонить во всю ивановскую* «во все колокола и в весь мах», приводятся и такие его «окружения», как *скакать*, *валять*, *кутить во всю ивановскую*, *дуй во всю ивановскую!* и *катать во всю ивановскую*. Последнее сочетание характеризуется как «шибко гнать, едучи».

То, что это значение — не случайное переосмысление «звуковой» семантики, доказывают и извлечения из литературы XVIII века, представленные в «Материалах для фразеологического словаря русского языка XVIII века» М. Ф. Палевской (Кишинев, 1980). Здесь оборот *во всю ивановскую* употребляется как в значении «очень быстро», так и в значении «очень громко»: «(Корыстолюб:) А зимою, нарядясь оборотнями, на извощиках самых хватских гоняют по Залыберью *во всю ивановскую*. Соколов. Судейския имянины; *То ты как хочешь работай Проворней исполняй все дело; Во всю ивановскую смело; Не спи никак и не зевай*. Осипов. Вергилева Енейда... *Добравшись люди до постели Во всю ивановску зрапели, Как водится всегда в ночи*. Осипов. Вергилева Енейда...» При этом показательно, что второе значение связано не столько с криком, сколько... именно с храпом.

Не правда ли, странная вещь: чем ближе ко времени появления оборота *во всю ивановскую*, тем дальше от «площадной» мотивировки, которая ему приписывается? Ведь если кричать во всю площадь (или — словно звонить *во все колокола*) еще кажется вполне логичным, то храпеть *во всю* площадь, а тем более гонять, работать или скакать на лошади *во всю* площадь выглядит весьма причудливо, если не сказать — абсурдно.

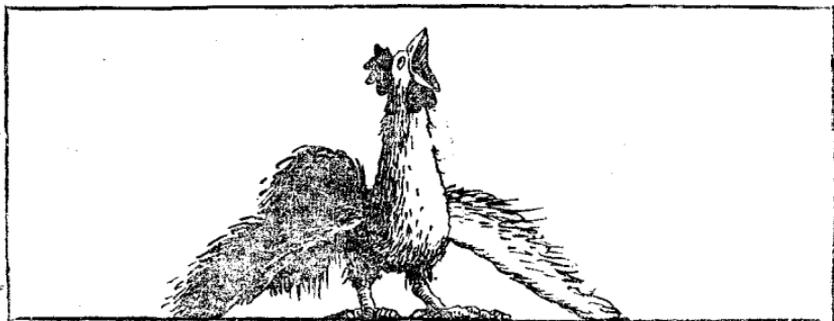
* * *

Факты, отраженные литературным языком XVIII—XIX веков, показывают, что оборот *во всю ивановскую* первоначально просто обозначал интенсивность, высшую степень проявления какого-либо действия, а потому с конкретным звоном или криком на определенной московской площади не имеет ничего общего. Таким образом, привязка оборота *во всю ивановскую* к истории Кремля вторична, она — плод ложной этимологии, легенда, порожденная языком.

Если это так, то что же здесь было на самом деле первичным?

Прежде чем ответить на этот вопрос, посмотрим, в какие синонимические отношения вступает оборот *во всю ивановскую*.

Подберем, в рамках современного литературного языка, одноструктурные исконно русские синонимы с местоимением *весь* на две интересующие нас семантические темы: «быстро, сильно (об интенсивности перемещения)» и «громко, оглушительно (о крике, плаче, храпе)». В первый ряд войдут известные *во всю мочь*, *во всю мощь*, *во всю силу*, *во весь дух*, *во всю прыть*, *во весь опор*, *во все лопатки* (*убегать*), *во все корки* (смол. и прост. *корки* — «ноги»). Во второй — *во все горло*, *во весь рот*, *во всю глотку*, *во весь голос*, *во всю мочь*, *во всю (в полную) силу*. Кроме приведенных, мы находим в говорах или просторечии такие обороты данной структурно-семантической модели:



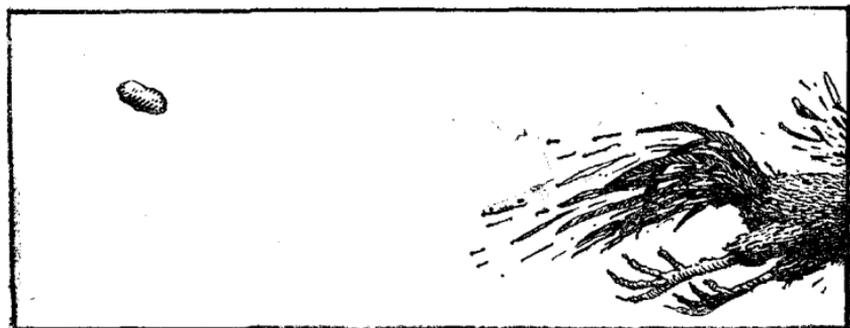
1. «Быстро, сильно (об интенсивности перемещения)»: горьк. *во всю силушку «изо всех сил», обск. во весь мах «изо всей силы, с маху, размахнувшись», раскатиться во весь мах «задать пир на славу», олон. во всю меть бежать «очень быстро (о коне), горьк. бежать во всю пору, пск. во все духи, во все охлпки «бежать, ежать, мчаться очень быстро», пск. во все прызы (бежать), арх. бежать во все ноги, плясать во все жилки, арх. во всю косу «изо всей силы, очень сильно» и под.*

2. «Громко, оглушительно (о крике, плаче, храпе)»: пск., горьк., перм., урал. *во всю головушку (кричать), урал., перм. во злу головушку кричать «очень сильно кричать или плакать», в известную голову (кричать), в известный голос (кричать) «кричать во весь голос, изо всех сил», смол. во всю мялицу (кричать), дон. во всю губу (кричать), печор. во всю челюсть (кричать) «очень громко», мордовск. во весь кадык (кричать), прост. во все хайло (XVIII век), олон. во весь крик (закричать), пск. во весь гвалт (кричать, плакать, петь).*

Нужно отметить, что для второго фразеологического ряда характерно и употребление с предлогом *на*: пск. *на весь рот, на всю глотку, на всю голову (кричать, плакать, петь) «очень громко», прост. на весь голос, смол. на все бандальи (раскричаться) «очень сильно», пск. на весь изгал (кричать), пск. на всю блажь (кричать), на всю блаженную (кричать), прост. храпеть на всю насосную завертку и под.*

Комментируя этот материал, можно заметить, что — при всем кажущемся разнообразии — он достаточно однороден. Практически он укладывается в строгие семантические рамки двух основных мотивов:

1. Перемещаться или кричать с очень большой силой, интенсивно.



Сюда входят впрочем всего обороты со словами *мочь, мощь, сила, силушка*, которые характеризуют и интенсивность движения, и силу голоса. Но к этому мотиву можно отнести как специализированно «двигательные» выражения со словами *дух, мах* или *рысь, опор, прыть* и под., так и специализированно «звуковые» обороты со словами, характеризующими силу голоса, — *крик, блажь, гай, изгал*.

2. Перемещаться или кричать, интенсивно используя для этого соответствующие органы тела: *во все лопатки, во все ноги* (бежать) или *во все горло, во всю голову, во всю пасть* (кричать).

Эти мотивы покрывают и те из названных выражений, которые содержат в своем составе непонятные нам диалектизмы, например: *меть* «галоп, рысь» (олон. *во всю меть*) *пру́за* «сила, скорость, пружинистость» (пск. *во все пружы*), *мялица, мялка* «рот, глотка, горло» (смол. *во всю мялицу*) или *гай* «рев, крик, шум» (пск. *на весь гай*). Характерно, что и в других славянских языках можно найти подтверждение подобных закономерностей. В белорусском, украинском, чешском и других языках, например, для обозначения силы крика употребляются выражения со словом *горло*: *крычаць на ўсё горла, на все горло кричати* (горлати), *на всю горлянку кричати, křičet со hrdla měl, со hrdla stačí, z plna hrdla*.

* * *

Итак, языковой материал дает основания предположить, что выражение о «всей Ивановской» — не индивидуально-историческое словосочетание, отразившее московскую реалию, а всего лишь — один из осколков фразеологической модели с особым значением. В этом случае *Ивановская* — определение не к существительному *площадь* или *колокольня*, а к словам *мочь, сила* или *силушка*. Ведь если реконструировать в качестве прототипа именно *во всю Ивановскую мочь (силу)*, то тогда понятно, почему уже в XVIII век наш оборот имел и значение «быстро», «сильно», «громко» и т. д.: с самого начала интенсивность, сила действия были запрограммированы соответствующими существительными.

Фактов распространения соответствующих выражений за счет уточняющего определения, действительно, немало. Вот лишь некоторые из них, зафиксированные «Материалами для фразеологического словаря русского языка XVIII века» М. Ф. Палевской:

Детина на коне, имея уж незрелый, Скакал день целый, Во всю коневью мочь (Майков. *Детина и конь*); *Выехав из замка поскакал я во всю конскую прыть* (Попов. *Славенские древности*); *Я побегу от вас во всю конскую рысь к моим деревенским красавицам*.

(Радищев. Путешествие из Петербурга в Москву); «Держи, коней, держи!» Держать уж не успели, Помчали барина во всю коневью скачь (Майков. Неосновательная боязнь).

Особое разнообразие определений, естественно, отличало оборот *во всю мочь*; уже само существительное с широким значением давало возможность соответствующим прилагательным характеризовать как животных (*во всю коневью мочь*), так и людей: *При сих словах вздохнула девка, Во всю девичью мочь, И отошла* (Сумароков. Подьяческая дочь); *Супруга веревит во всю супругу мочь* (Сумароков. Супруг и супруга).

Среди подобных употреблений находим и такие, которые вплотную приближают нас к разгадке прилагательного *Ивановский*: «В это же мгновение свита Катерины Львовны взлетела ей на голову, и по ее спине, закрытой одною суровою рубашкою, загулял во всю мужичью мочь толстый конец вдвое свитой веревки» (Лесков. Леди Макбет Мценского уезда). *Во всю мужичью мочь* — это уже лексический вариант нашего оборота, социально паспортизирующий нашего Ивана.

Второе свидетельство — еще более конкретно, хотя оно представлено в несколько иной синтаксической конструкции — *изо всей дурацкой мочи*:

Стало в третий раз смеркаться.
Надо младшему собираться;
Он и усом не ведет,
На печи в углу поет
Изо всей дурацкой мочи:
«Распрекрасные вы очи!»

Сразу ясно, что речь идет об Иванушке-дурачке из сказки П. П. Ершова «Копек-горбунок».

Синтаксическое различие оборотов *во всю ивановскую (мужичью) мочь* и *изо всей дурацкой мочи* несущественно, ибо их значения и лексический состав практически тождественны. Более того, подтверждением их общности является употребление П. А. Вяземским сочетания *дурачиться во всю Ивановскую*, которое перекидывает мостик между поведением русского сказочного героя и его именем. Оно встретилось в одном из писем писателя (В. М. Фонштейн. «Письма — это самая жизнь...» О дружеских письмах П. А. Вяземского. — Русская речь, 1983, № 1).

Наконец, показательное наизывание эпитета *Ивановский* на обороты данного ряда. Так, в Каргополе записана фраза: *Рыцать во всю голову, во всю Ивановську*, где *Ивановска* — определение к *голова*.

* * *

В том, что именно Иванушка вошел в нашу поговорку, нет ничего удивительного: это самый любимый персонаж русского фольклора. Сказочные Иван-царевич, Иван-Горох, Иван Зорькин, Иван Медвежье Ухо, Иван Сучич, Иван Сторожевич, Иван Белая Еланча, Иван Бурлак, Ивашка Белая Рубашка — народные герои, отличающиеся ловкостью, добротой, простодушием с некоторой долей лукавства и незаурядной силой. Вот, например, как три Ивана из сказки «Иван Быкович» соревнуются в своей «ивановской мочи»: «„Давайте,— говорит (Иван-) царевич,— еще силу попытаем: станем бросать железную палку кверху; кто выше забросит — тот будет больший брат“.— „Ну что ж, бросай ты!“ Иван-царевич бросил — палка через четверть часа назад упала, Иван кухаркин сын бросил — палка через полчаса упала, а Иван Быкович бросил — только через час воротилась».

В другой «Сказке об Иване-богатыре, крестьянском сыне» герой испытывает свою силу тем, что, воткнув кол посреди огорода, поворачивает его так сильно, что вся деревня с колом повернулась. Иван крестьянский сын показывает и полную мочь своего голоса, ибо в чистом поле «кричит своим богатырским голосом: «Гей ты, сивка-бурка, вещая каурка! Стань передо мной, как лист перед травой». Да и храпят сказочные Иваны именно «во всю ивановскую», подтверждая тем самым, что совесть у них чиста, а душа спокойна.

Можно предположить, что фразеологизм *во всю ивановскую* образовался от более пространного оборота *во всю Ивановскую мочь (силу)* путем субстантивации прилагательного (перехода в класс существительных) и усечения соответствующего существительного (ср. *пускаться во все тяжкие* из *ударять во все тяжкие колокола, идти на попятную* из *идти на попятный двор* и под.).

Прилагательное *Ивановский*, следовательно, первоначально относилось не к площади или колокольне Ивана Великого, а к герою русского фольклора — крестьянскому сыну Ивану, Иванушке-дурачку, в конце сказки становящемуся Иваном-царевичем.

* * *

Во всю Ивановскую — яркая национальная метка, оставленная фольклором в нашем языке. Это своеобразный фразеологический символ того, что у нас принято называть русской душой, русским духом или широкой русской натурой.

Рисунок Юлии Гуковой

Что же такое «лютый зверь» у Владимира Мономаха?

Т. А. СУМНИКОВА,

кандидат филологических наук

Великий князь киевский Владимир Мономах (1053—1125 гг.) вошел в историю как энергичный, предприимчивый, отличающийся военными доблестями, гуманный и широко образованный человек.

До нашего времени дошло несколько его произведений. Наибольшую известность получило Поучение детям и как продолжение — рассказ о жизни и походах, который является первым древнерусским произведением автобиографического жанра. Они написаны, как полагают, в 1117 году, сохранились до нас в единственном списке XIV века, в составе Лаврентьевской летописи и содержат «неисправные места».

Пожалуй, никакое другое место текста не вызывало столь противоречивых толков, как известная фраза со словосочетанием *лютый зверь*, где Владимир Мономах описывает свои «ловы» (охоты) в бытность черниговским князем:

«а се в Чернигове деял есмь , конь диких своима рукама связал есмь , в пущах (вм. в путах!) 10 и 20 живых конь , а кроме того иже (вм. же!) по рови (вм. по роси!) езда имал есмь своима рукама те же кони дикие , тура мя 2 метала на розех и с конем , олень мя один бол , а 2 лоси один ногами топтал , а другии рогама бол , вепрь ми на бедре меч оттял , медведь ми у колена подклада укусил , лютыи зверь скочил ко мне на бедра , и конь со мною поверже . и бѣ(бог) неврежена мя съблюде».

Фраза с *лютым зверем* вызвала до сих пор не прекращающиеся споры — какое животное опрокинуло коня вместе с князем, Она оказалась исходной для суждений о значении словосочетания *лютый зверь* в древности и его происхождении.

Считается, что *лютый зверь* означало не только «страшный, свирепый зверь», но и представляло собой обозначение конкретного животного. Полагают вслед за Б. А. Лариным (см. в книге «Памяти академика Льва Владимировича Щербы», Л., 1951), что это название возникло в древности как эвфемистическая [*эвфемизм* — слово или выражение, употребляемое взамен другого, ко-

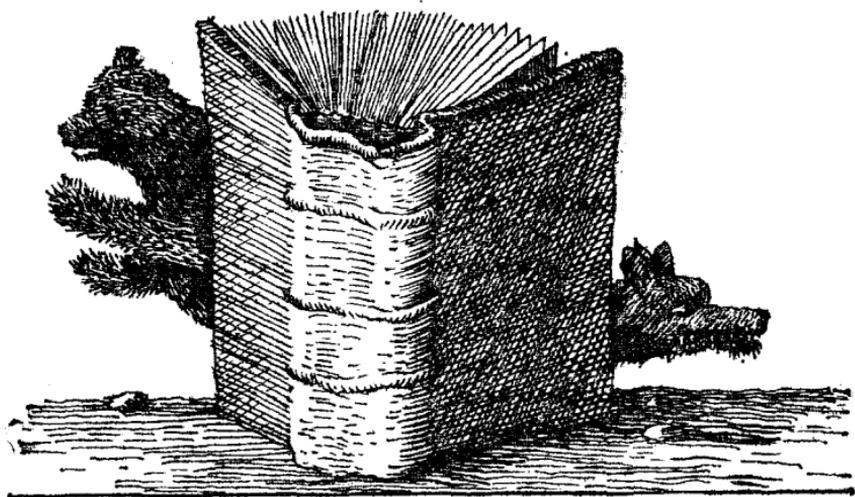
торое по каким-либо причинам псеудбно или нежелательно произнести (как грубое, оскорбительное, невежливое и т. д.)} замена прямого названия, в дальнейшем вышедшего из употребления. Спорят лишь о том, какой именно зверь так назывался: лев, тигр, барс (леопард), рысь, волк?

В спорах о *лютом звере*, развернувшихся на страницах специальных и популярных изданий, приняли участие языковеды, филологи, историки, литературоведы и зоологи. Однако даже представители одной области науки, например зоологии, не едины в понимании того, кто скрывается под выражением *лютый зверь*. Так, в XIX веке профессор Урусов полагал, что на Владимира Мономаха напал волк. В 1948 году к этому мнению присоединился Н. В. Шарлемань (см. Труды отдела древнерусской литературы, т. VI, 1948), правда, в 1964 году он принял мнение Б. Сапунова, считавшего, что на князя напал лев (см. Зоологический журнал, т. 43, вып. 2, 1964). В 1969 году В. Г. Гептнер считал, что *лютый зверь* означало тигра [см. «Млекопитающие Советского Союза» и «Охота и охотничье хозяйство» (1969, № 4)]. По-видимому, не случайно Д. С. Лихачев, комментируя текст Владимира Мономаха (см. Повесть временных лет. М.—Л., 1950), отдал дань традиции, считая, что *лютый зверь* — это хищник из семейства кошачьих, а позднее (см. Памятники литературы древней Руси XI — начала XII века. М., 1978) написал: «Что такое этот „лютый зверь“ — не ясно». Наконец, С. В. Лобачев (см. Охота и охотничье хозяйство, 1981, № 4) высказал мнение, что *лютый зверь* — это медведь. Среди лингвистов признание получила точка зрения Б. А. Ларина, согласно которой *лютый зверь* у Владимира Мономаха — рысь.

Итак, кто же скрывается под *лютым зверем* у Владимира Мономаха?

Приведем наш перевод текста на современный русский язык, сохранив точку в ее древнем значении, которое было значительно шире, чем современное: «А вот что я делал в Чернигове . диких коней своими руками связывал . в путах по 10 и 20 живых коней . а кроме того и по Роси ездя . ловил своими руками тех же диких коней . 2 тура метали меня рогами вместе с конем . олень меня один бодал . а из 2 лосей один ногами топтал . а другой рогами бодал . вопрь у меня с бедра меч сорвал . медведь у моего колена потпик укусил . лютый зверь вскочил ко мне на бедра . и коня со мною опрокинул . и бог невредимым меня сохранил».

Языковые особенности текста и употребление в нем точки допускают двойное истолкование в части, где упомянут *лютый зверь*. Если рассматривать предложение «лютый зверь скочил ко мне на бедра . и конь со мною поверже» как самостоятельное не только



грамматически (имеются подлежащее и два сказуемых), но и в смысловом отношении, то возникает вопрос, какого зверя так назвал Владимир Мономах. И, следовательно, получает основание предположение о том, что *лютый зверь* — неразложимое словосочетание. Если же считать, что данное предложение по смыслу связано с предыдущим, где имеется подлежащее *медведь*, то словосочетание *лютый зверь* — свободное, характеризующее медведя.

Рассмотрим «за» и «против» всех называвшихся в литературе животных, обратив при этом внимание на ландшафт и границы Киевской Руси XI—XII веков, на места обитания, особенности и повадки называвшихся животных.

Южные границы Киевского и Переяславского княжеств и юго-восточная граница Черниговского — трех южнорусских княжеств, которыми в разные периоды своей жизни владел Владимир Мономах, — проходили по двум притокам Днепра: по Роси, включая узкую полосу ее правобережья, по левому берегу Сулы, а также по правому берегу Сейма восточнее Путивля, Севска, Болдыша (см. об этом статьи А. К. Зайцева и С. А. Плетневой в кн.: Древние русские княжества X—XIII вв. М., 1975).

Киевская Русь в целом была лесной страной. Лишь на юге и юго-востоке пролегла лесостепь. На Таманском полуострове располагалось Тмутороканское княжество. Оно было признано «отчи-

ной» черниговских князей. Начиная с 1064 года в нем княжили (с небольшим перерывом) потомки черниговского князя Святослава Ярославича.

Такие хищники, как волк и рысь, были хорошо известны на Руси. В языке восточных славян для их обозначения имелись слова *вълк* и *рысь*. Волк обитал повсеместно. Рысь — в лиственных и смешанных лесах. Эти хищники представляют большую опасность для человека и скота, поэтому на определенных территориях могли появиться эвфемистические замены прямых названий *волк*, *рысь*. Видимо, такой заменой и является *люта звірина*, *лютий* — названия волка, сохраняющиеся в современном украинском языке (литературное — *вовк*).

Однако ни волк, ни рысь для ситуации, описанной Владимиром Мономахом, не подходят, так как не могут повалить всадника вместе с конем. [Здесь и далее сведения о животных взяты из издания «Млекопитающие Советского Союза» (М., 1968—1970)].

Остальные из упоминавшихся животных — лев, тигр, медведь и, возможно, барс — способны свалить всадника вместе с конем. Однако лев, тигр и барс должны быть в данном случае также исключены. В XI—XII веках экологическая обстановка на Восточно-Европейской равнине была, конечно, иной, чем в наше время. Людей было мало, зверей много, водоемы были полноводные и изобиловали рыбой, линия лесов проходила значительно южнее. Тем не менее, нет оснований предполагать существование львов, барсов, тигров и охоту на них в окрестностях Чернигова.

В пределах нашей страны — в Закавказье — лев обитал до X века. В популярной книге «Очерки развития научных и научно-технических представлений на Руси в X—XVII вв.» (М., 1978) ее автор В. К. Кузаков в перечень животных, на которых «производилась в то время охота», поместил и льва (со ссылкой на летописи, но без указания конкретных свидетельств). Где именно и когда восточные славяне охотились на львов, остается неясным.

Для отождествления *лютого зверя* с барсом нужно принять ряд допущений, совокупность которых делает это маловероятным.

Зона обитания барса — альпийские луга, густые заросли кустарника в скалистых ущельях — отстоит на весьма значительном расстоянии от Черниговского княжества, где охотился князь. Но, может быть, событие произошло не в Чернигове, а в Тмуторокани?

Прямых свидетельств пребывания Владимира Мономаха в Тмуторокани в источниках нет, хотя косвенные данные не исключают этого.

В 1078 году Всеволод Ярославич стал великим князем киевским

и посадил своего сына Владимира Мономаха князем в Чернигове. На правах черниговского князя Владимир Всеволодович мог наведаться и в Тмуторокань. Наиболее благоприятным для этого можно считать время с августа 1079 года по 18 мая 1081 года, когда Всеволод держал в своем подчинении Тмуторокань, имея там своего посадника.

Восстановленный для исторического периода ареал обитания барса занимал Кавказ, кроме степных территорий, однако до района нынешнего Новороссийска не доходил. Вес барса (от 32 до 50 кг) недостаточен, чтобы свалить коня со всадником. Правда, известно, что при падении сила удара возрастает, поэтому нужно допустить, что барс мог напасть сверху (ситуация наиболее вероятная при случайной встрече с животным, а не при охоте на него). Тогда вместо имеющегося в тексте «на бедра» (на бедро князя) следовало бы читать «на забедры» (на круп лошади, место позади седока). При всех этих допущениях невозможно объяснить, почему Владимир Мономах отказался бы от названия этого зверя — *рысь*. Ведь, судя по материалам древней письменности, слово *рысь* означало не только обычную рысь, но и барса, то есть разных представителей кошачьих, объединенных в сознании по признаку окраски — рыжий цвет и пятнистость. *Рысь* в значении «леопард» употреблял еще в XVII веке Симеон Полоцкий в стихотворении «Лев». Если бы, действительно, прыгнул барс, то, назвав его *лютым зверем*, Владимир Мономах рисковал бы быть непопым читателем: на юге Руси *лютый зверь* было вторичное название для волка.

Тигра в *лютом звере* видел В. Г. Гептнер. В издании «Млекопитающие Советского Союза» район оседлого обитания тигра в X—XII веках — Талыш, Ленкоранская низменность, низовья впадающей в Каспий Куры и Терека, западное побережье Каспийского моря до реки Самур. «Вдоль Каспийского побережья,— пишет В. Г. Гептнер,— звери, очевидно, распространялись далеко на север». И далее, ссылаясь на свою статью 1969 года (см. Охота и охотничье хозяйство, № 4), продолжает: «Есть основания принимать, что „лютый зверь“ русского средневекового языка был не волк, не барс, и не лев, как думали разные авторы, а тигр». Из этого делается вывод, что «тигр занимал и равнину северного Предкавказья, притом не только прикаспийские тростники далеко на север, но и Терек, Кубань и азовское побережье. Он проникал и к устью Дона и в южнорусские степи, может быть, и в лесостепь (Черниговское княжество)».

В журнальной статье он привел следующие доводы: 1) большой размер и вес тигра, в силу чего зверь способен свалить всад-

ника вместе с конем; 2) свидетельство о том, что в середине XIX века жители Приамурья называли *лотым зверем* или просто *лотым бабра*, то есть тигра и барса, которых не различали; 3) предположение, что тигр в X—XII веках мог обитать в северном Предкавказье.

Однако размер и вес, позволяющие свалить коня вместе с седлом, имеет не только тигр, но и обычный представитель фауны Киевской Руси — бурый медведь. Словосочетание же *лотый зверь* приложимо ко многим, преимущественно крупным хищникам; так называют на Украине волка; в XVI веке оно прилагалось в северных районах к рыси, а в Верхнем Поволжье — к медведю; в XV веке надписью *лотый зверь* в печатях Новгорода сопровождается изображение животного, похожего на льва, прототипом для которого служил лев в гербе Венеции.

Утверждение В. Г. Гейтнера нашло отражение, правда, в смягченной форме, в «Каталоге млекопитающих СССР» (М., 1981): тигр «на Кавказ проник лишь в голоцене (то есть в послеледниковый период. — Т. С.), отсюда он мог заходить на север до Украины».

Между тем для решения вопроса о северной границе расселения тигров на территории нашей страны в древности оказываются полезными известия древних писателей о Скифии и Кавказе, опубликованные В. В. Латышевым в «Вестнике древней истории» в 1947—1949 годах. В частности, сведения в «Истории» Аммиана Марцеллина о том, что в IV веке нашей эры тигры водились на южном побережье Каспийского моря и заходили в близлежащие районы, то есть обитали там же, где их встречали еще и в XX веке. Сведений о их обитании (равно как и львов) в Скифии и Меотиде (Приазовье) ни у Аммиана Марцеллина, ни у других авторов в публикации Латышева нами не отмечено.

Итак, приходим к выводу, что предложенное в литературе отождествление словосочетания Владимира Мономаха *лотый зверь* с названием волка и рыси не согласуется с данными зоологии; предположения о льве и тигре не подкрепляются сведениями исторической зоогеографии, а предположение о барсе вызвало бы к тому же необходимость в правке текста, без чего, как покажем, легко обойтись.

Если мнение о смысловой изолированности предложения с *лотым зверем* не верно, то единственно возможной становится смысловая связь словосочетания с предыдущим предложением, где есть слово *медведь*. Таким образом, получает подтверждение высказанная С. В. Лобачевым догадка о том, что *лотый зверь* у Владимира Мономаха — медведь.

Действительно, бурый медведь обитал в Киевской Руси повсеместно, и для охоты на него не нужно было покидать пределы Черниговского княжества. Размер бурого медведя (до 2 м) и вес (до 300—350 кг) позволяют ему свалить коня вместе со всадником.

С. В. Лобачев так описывал нападение медведя на корову в книге «Охота на медведя» (М., 1951): «...медведь громадными скачками гонится, хватает зубами за шею или спину, а когтями — за лопатки или грудь и валит корову» (то же в журнальной статье). В свете приведенного наблюдения, очевидно, что в тексте речь идет о медведе, который во время охоты на него, защищаясь и, следовательно, нападая, прокусил потник на лошади около колена Владимира Мономаха и, пытаясь вскочить на нее, оказался на бедре князя и собственным весом опрокинул обоих.

Таким образом, особенности древней пунктуации, данные зоологии и исторической зоогеографии позволяют рассматривать словосочетание *лютый зверь* у Владимира Мономаха как свободное и считать его парафразой к слову *медведь* предыдущего предложения.

В других текстах словосочетание *лютый зверь*, достаточно широко представленное в древней литературе, может выполнять и иные функции. См. об этом в ежегоднике «Балто-славянские исследования. 1984».

Рисунок Юлии Гуковой

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

«Объясните, пожалуйста, значение слова *дражирование*».

Т. Я. Уваров, Васильсурск

Дражирование — это обволакивание семян защитной питательной оболочкой из смеси торфа, перегноя, минеральных удобрений и клеящего вещества в аппарате — дражираторе. Дражирование облегчает более

равномерный высев семян и улучшает условия развития всходов.

Существительные *дражирование*, *дражиратор*, глагол *дражировать* образованы от слова *драже*, которое заимствовано из французского *dragée* — мелкие конфеты круглой формы, покрытые слоем сахара или шоколадной массы.

Задать лататы

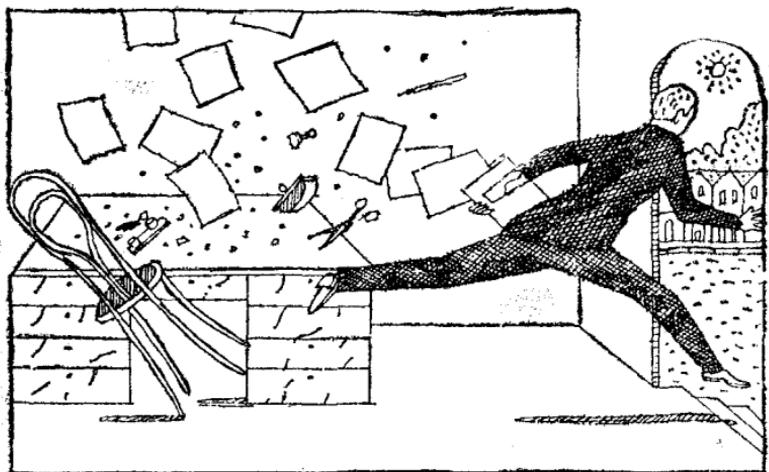
Ж. Ж. ВАРБОТ,

доктор филологических наук

Выражение это характеризуется словарями как просторечное, значение его — «проворно скрыться, поспешно убежать». В «Севастопольской страде» Сергеева-Ценского читаем: «Бегут, братцы, бегут! — кричали казаки — Задают лататы!» Иногда фразеологизм «свертывается» и в том же значении употребляется одно лишь междометие *лататы* (иногда — *латата*), например: «Прослужит год-два и уедет... У нас чиновники не живут: сделают карьеру — и латата» (Пришвин. Адам и Ева). Выражение *задать лататы* по значению и структуре очень близко к *здать стречка*, *стрекача*. В этом последнем сочетании *стрекач*, *стречок* связываются по происхождению с глаголом *стрекать* во вторичном значении «прыгать, спешить» (см. М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка). А что же такое *лататы*?

Как это часто бывает в отношении междометий, предполагают, что *лататы* (*латата*) — звукоподражание (см. М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка). Но опыт показывает, что не следует спешить с отнесением слова к звукоподражаниям. Нередко междометия оказываются образованными от полнозначных слов совсем не звукоподражательного значения и происхождения. Например, *топ* родственно с глаголом *топать* и далее — с диалектным *тенти* «бить, ударять». Для *брысь* вполне вероятно родство с *бросать* (ср. *броситься бежать*).

Каковы же могут быть родственные связи слова *лататы* и каково его первичное значение? Для ответа на эти вопросы следует познакомиться со словарным составом русских диалектов и родственных славянских языков. Оказывается, что в белорусских говорах есть выражение, почти тождественное русскому *здать лататы* — это *даваць лататы* «убегать», например: «Хлопцы давали лататы» (Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі і не паграічча). Значит, словосочетание это может быть древним славянским выражением. В русских ростовских говорах зафиксирован интересный вариант словосочетания — *здать латки* «стремительно бежать, задать стрекача»: «А он испугался, да как задал



латки, так куды там его ловить!» (Словарь русских народных говоров), а в Закамье известно *задать лататаху*: «Я сейчас босиком лататаху задам» (там же). В последнем варианте слово *лататах* обнаруживает явные следы сближения со звукоподражаниями. Но ростовское *латки* по структуре близко к нейтральной лексике. Наконец, в смоленских говорах отмечено прилагательное *лататбй* «быстроногий, резвый»: «Лошадь лататая» (там же). Это прилагательное при сопоставлении с *латки* отчетливо определяется как образование от корня *лат-* с суфф. *-ат-*, характерным для прилагательных, обозначающих наличие у предмета какого-то ярко выраженного качества, свойства. Других слов с корнем *лат-*, обозначающих быстроту, в русском языке, кажется, нет. Но значение слова *лататбй* «быстроногий, резвый» позволяет думать, что его корень *лат-* является очень древним вариантом славянского корня *лет-* «летать».

Во всех славянских языках, в том числе и в русском, этимологические гнезда с корнем *лет-* «летать» имеет многочисленные производные, среди них — и слова со значением «быстрый, быстро», например: русск. урал. *летяга* «быстрый, подвижный человек» (Словарь русских говоров Среднего Урала); смол., онеж., ворон. *лётмя, лётма, летма́* «очень быстро» (Словарь русских народных говоров); польск. *lotny* «быстрый, подвижный», белорус. диал. *лёткі* «быстрый, подвижный» (Слоўнік беларускіх гавораў паўночна-заходняй Беларусі і яе пагранічча). Правда, во всех приведенных словах корень имеет форму *лет-*, а не *лат-*. Форма *лет-* и производная от нее *лёт-* вообще являются для многих языков единственно известными. Но давшие истории и этимологические исследова-

дования позволили установить, что в этом гнезде возможна и форма корня *лат-*, связанная с *лет-* очень древним чередованием гласных. Прежде всего, О. Н. Трубачев отметил такую форму корня в ц.—слав. *прѣлѣтати* «пролетать» в Похвале Кириллу Философу Климента по списку XIV в., далее к тому же корню он возвел глагол *latiti*, который в сербохорватском языке употребляется в значении «схватить, взять», в словенском (*latiti se*) — «браться, приниматься» (см. статью: О. Н. Трубачев. О семантической теории в этимологическом словаре.— Сб. «Теория и практика этимологических исследований»). В русском языке тот же корень О. Н. Трубачев видит в *разлатый* «широкий, с раструбом».

Представляется, что и русск. диал. *лататой* «быстроногий», и русск. просторечн. (*задать*) *лататы* содержат тот же древний вариант корня *лет-*, так что *лататы* родственно глаголу *лететь*. Редкость формы корня *лат-* и ее омонимия с *лат-* «кусок материи, заплатка» привели к забвению связи с глаголом, тем более что *лататы* сохранилось лишь во фразеологическом сочетании. Так и стало *лататы* «темным» словом, осколком, и лишь привлечение материалов диалектов и родственных языков помогает увидеть в нем интересный реликт древних словообразовательных связей гнезда *лететь*.

Рисунок Леонида Тишкова

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

«Я встречала в литературе выражение *мыть пол с дресвою*. Что такое *дресва*?»

С. Ф. Чудаченко, Таганрог

Дресва, по определению 17-томного «Словаря современного русского литературного языка»,—

это мелкий щебень, крупный песок, получающийся от выветривания горных пород, при отделке камня и т. п. В крестьянском быту использовался для чистки металлической посуды, при мытье деревянных полов.

Хирург, то есть...

цирюльник

Л. П. БОРИСОВА

Первое слово, вынесенное в заголовок, хорошо известно каждому. Слово же *цирюльник* в настоящее время устарело. В представлении современного человека оно постоянно связывается с понятием «парикмахер».

Вроде бы между *хирург* и *цирюльник* нет ничего общего, но при изучении истории этих слов выясняется, что они — родственные по происхождению и попали в русский язык не ранее XVI века.

Греческое слово *хирург* (*cheirurgos*) проникает в памятники восточнославянской письменности, в речь образованных людей старорусского общества из научных трактатов, написанных по-латыни. Хорошо знакомые с обоими языками, средневековые книжники могли позаимствовать это слово непосредственно из греческих и латинских источников (в латынь оно вошло еще в античную эпоху). Не исключено, что в передаче слова *хирург* в восточнославянские языки посредническую роль сыграл польский язык.

Древнегреческое *cheirurgos* состоит из двух корней, каждый из которых соотносится с существительными *cheir* «рука» и *ergon* — «труд, работа, деятельность». Исконное значение этого слова было «врач, исцеляющий действием рук, при помощи ручных приемов». Слово *хирургия* (*cheirurgia*) обозначало «ручной труд, ремесло, мастерство», а также «хирургическая (буквально — „ручная“) операция». Элемент *xip* — (*cheir*) встречаем в словах *хирагра* «ревматизм рук» (в отличие от *подагра* «ревматизм ног») и др.

Как известно, в древней Греции хирурги составляли особую категорию врачей, которые специализировались главным образом на лечении наружных повреждений. «Отец медицины» Гиппократ оставил большую книгу о хирургии, в которой излагается учение о повязках, о способах лечения переломов и вывихов, повреждений головы и т. д. Кроме того, хирурги специализировались на извлечении инородных тел из ран (прежде всего стрел), ставили банки, производили разрезы и прижигания.

В средневековой латыни многие слова греческого происхождения с пачальным *x* претерпели некоторые фонетические изменения: в них произошла замена *x > c*. *Chirurgus* изменяется в *cirurgus*. По-

нав в таком виде в польский язык, в живой разговорной речи слово продолжает подвергаться различным звуковым и структурным преобразованиям, в результате которых и появляется *cygulic*. Проникнув устным путем в русский язык, оно сближается с существительными на *-ник* и превращается в форму *цирюльник* (или *цирюльник*).

Таким образом, в польском языке оказались две основы одного и того же слова: *chirurg* и *ciug- — cigul-*. Образованные от них формы не сразу выработали смысловые различия. Еще в 40-е годы прошлого века в польском языке *cygulictwo* значило как «хирургия» (было и *chirurgia*), так и «искусство цирюльника», а *cygulicki* — «хирургический» [при параллельном *chirurgicznu*] и «цирюльничий». В староукраинском языке был еще широко употребителен полонизм *церилик* (*целюрик*). Например: «церилик запорожский», «Иван церилик», «тилко целюрика» и т. д. (Актовые книги Полтавского городского уряда XVII века. Вып. I, Чернигов, 1912). Отразились эти формы и в прозвищах украинских казаков. Так, в памятнике середины XVII века — «Реестре всего Войска Запорожского», представляющем собой список запорожских казаков, мы находим личные имена: Фесько Цырулик, Стефан Цырулик, Иван Спичкий Целюрик, Корний Цырулик, Дацько Церулек, Семен Цилюрик, Василь Цыруличенко и т. д. В документах XVII века, отразивших историю русской медицины, данное слово фиксируется в трех вариантах: *цирюлик* (*църюлик*), *цирюльщик* (*църюльщик*) и *цирюльник* (*църюльник*), из которых наиболее жизнеспособным оказался последний (Материалы для истории медицины в России. СПб., 1881).

Итак, в восточнославянские языки разными путями проникли два разных слова, имеющих, однако, общую этимологию и вначале очень близкое значение. О смысловой близости (если не тождестве) слов *хирург* и *цирюльник* говорят любопытные факты разъяснения их друг через друга. Так, в одном из сочинений И. Вишенского (начала XVII века) рассказывается о том, как «некий *цериульник*, се есть (то есть. — Л. Б.) *хирург*, немец родом» осквернил одну из святынь Киево-Печерского монастыря — отрезал одному из святынь в пещере святого Антония. Далее, при описании последовавших чудес, он именуется только *хирургою* (Архив Юго-Западной России, Ч. I. Т. VII, К., 1887). В «Лексиконе латинском» Е. Славинецкого латинское слово *chirurgus* объясняется посредством староукраинского *цълюрик*.

Чем же занимались цирюльничьи в старину? Знаменитый Фигаро из комедии Бомарше «Севильский цирюльник, или Тщетная предосторожность» не только брил и стриг, но и давал снотворное



и чихательное, а однажды он попытался вылечить даже слепого мула, поставив ему на глаза припарки. На вывеске его «заведения» — весьма характерная эмблема: «три тазика в воздухе, глаз на руке» (аллегорическое обозначение того, что рука цирюльника должна быть осторожной, «всевидащей»). Из другой комедии Бомарше — «Безумный день, или Женитьба Фигаро» мы узнаем, что Фигаро изучил химию, фармацевтику и хирургию.

Цирюльники XVII—XIX веков не только стригли, но и лечили. В журнале «Прохладные часы, или Аптека, врачующая от уныния» (Ч. I. М., 1793), в разделе «Анекдоты», была напечатана забавная история о немце, который, не зная итальянского языка, попал вместо трактира в «цирюльню». Цирюльник его побрил, а затем, неправильно истолковав жест голодного человека, вырвал ему «клещами» здоровый зуб. В одном из документов 1678 года сообщается о «цырюльнике» Иване Матвееве, который в Смоленске лечил «всяких чинов людей; и будучи де он, Матвей, у отца своего выучился лекарской науке, раны лечит колотыя и рубленыя и стреленыя, и пулки вырезывать, и составы ломаныя справливать, и жилную руду (кровь,— Л. Б.) пускать умеет» (Матерьялы для истории медицины в России), то есть фактически выполнял хирургические операции того времени. Сохранился еще один интересный документ 1699 года — дело об увечьях, нанесенных комедиантом И, Антоновым проживавшему в России датчанину Готфриду Каулицу. Пострадавший сообщает, что был «зело крепко бит и в голову ранен был» и выздоровел только «по тщательной работе *цырюликов*» (Чтения в обществе истории и древностей российских., Кн. 2, отд. I, 1914).

По уровню профессиональной выучки и общественному статусу цирюльники были ниже докторов и лекарей. Они, скорее всего, являлись лекарями-самоучками, самостоятельно освоившими определенный круг хирургических приемов или же обучившимися своему ремеслу у других таких же цирюльников. Уже в допетровскую эпоху цирюльники включались в штат Аптекарского приказа, направлялись в воинские соединения наряду с докторами, лекарями, аптекарями, костоправами. В утвержденном Петром I «Уставе воинском» говорилось: «Надлежит быть при всякой дивизии одному лекарю и одному штаб-лекарю, а во всяком полку полевому лекарю, таже в каждой роте по цирюльнику». Цирюльник (в других местах устава он именуется «лекарем ротным» и «ротным фельдшером») — низший медицинский чин в петровской армии. Он подчинялся полковому лекарю, выше которого был доктор. В обязанности цирюльника также входило бритье солдат, тогда как полковников, подполковников и майоров брили полковые лекари.

Такая «разносторонняя» деятельность цирюльников получила отражение в толкованиях этого слова и существительного *цирюльня* в словарях конца XVIII — начала XIX веков. В Словаре Академии Российской 1789... *цирюльник* — «ремесленник, упражняющийся в брадобритии и кровопускании»; *цирюльня* — «покой, лавка, где бреют бороды и отворяют кровь из платы» (то есть за плату. — Л. Б.). В «Словаре церковнославянского и русского языка» (1847) *цирюльня* — «покой, где бреют бороды, стригут волосы и отворяют кровь», а *цирюльник* — «брадобрей и рудомет». В Толковом словаре В. И. Даля *цирюльник* — «брадобрей, иногда он же рудомет, зубоврач и пр.»; *цирюльня* — «вольное заведение, где стригут, чешут, бреют, кидают кровь, рвут зубы и пр.» Но и это был не предел врачебной «деятельности» цирюльников. «В Орле тогда городских цирюльников мало было, — пишет о них в «Тупейном художнике» Н. С. Лесков, — да и те больше по баням только с тазиками ходили — рожки да пиявки ставить, а ни вкуса, ни фантазии не имели».

В XVIII веке значения слов *хирург* и *цирюльник* резко расходятся. *Хирургами* стали называть только врачей, которые «упражнялись» в хирургии, лечили хирургические болезни, а их в то время было пять видов: «опухоли, раны, чирьи или вереды, перелом костей и вышибы костей из суставов» (Яновский Н. Новый слово-толкователь, расположенный по алфавиту. Ч. 3, 1806).

Дальнейшая судьба слов *цирюльник* и *цирюльня* оказалась связанной с проникшим в русский язык и распространившимся в XIX—XX веках словом немецкого происхождения *парикмахер* и его русским производным *парикмахерская*. Выходивший в первой

четверти XIX века «Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный» слова *парикмахер* еще не отмечает, хотя в нем имеется *парик* «накладные волосы». Слово *парикмахер*, однако, употребляет Н. М. Карамзин в «Письмах русского путешественника»: «В ту же минуту явился английский парикмахер, толстый флегматик, который изрезал мне щеки тупою бритвою, намазал голову салом и напудрил мукою...»; «Меня провожал русский парикмахер Федор...»

Распространившаяся в Европе мода на парики привела к тому, что «парикмахерское дело во второй половине XVII века достигает расцвета. Искусство изготовления париков стало так совершенно и накладные шевелюры так великолепны, что во Францию посылались заказы на изготовление париков от всех франтов Европы включая Россию» (Сыромятникова И. С. История прически). В XVIII веке во Франции была даже учреждена Академия парикмахерского искусства. Приезжавшие в Россию в поисках хорошего заработка парикмахеры-французы именовались в XVIII веке *куафёрами* (франц. *coiffeur*).

После того, как в форме причесок возобладали прусская мода («прусская коса» и др.), заметную роль стали играть не французские, а немецкие парикмахеры. Это способствовало активному освоению русским языком именно немецкого слова, ближе к которому по форме было *перукмахер*. В немецком языке сложное слово *Perütschenmacher* буквально означало «изготовитель париков» (сравните самостоятельные слова *Perütsche* «парик» и *Macher* «изготовитель чего-либо»). Иноязычное слово *перукмахер* (встречается еще у Радищева) под влиянием слова *парик* превращается в *парикмахер* (Фасмер М. Этимологический словарь русского языка).

Вначале парикмахеры специализировались только на изготовлении париков, оформлении причесок. Высококвалифицированных русских крепостных парикмахеров называли еще *тупейщиками* или *тупейными художниками* (*тупей* — от франц. *tourpet* «вихор»). [Подробно об истории этих слов рассказано в статье В. К. Юношевой «Тупей, тупейный». — Русская речь, 1981, № 1.]

В XIX веке парикмахеры уже занимались бритьем своих клиентов, а в цирюльнях не только брили и стригли, но и завивали волосы.

К началу XX века освоенное русским языком слово *парикмахер* утверждается как единственное обозначение лиц данной профессии, а *цирюльник* становится историзмом. Его используют писатели лишь тогда, когда пишут о представителях этой исчезнувшей профессии.

Рисунок Владимира Леонова

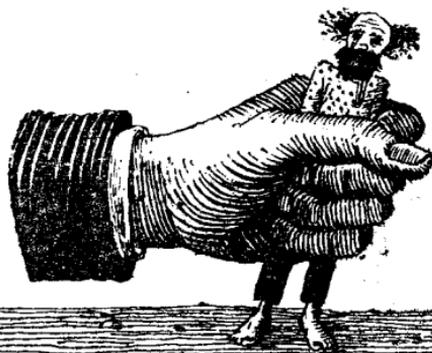
Держать в черном теле

И. Г. ДОБРОДОМОВ,
доктор филологических наук

Судьба многих устойчивых оборотов нашей речи уходит в глубины веков и оказывается весьма непростой. Она тесно связана с историческими изменениями в жизни и деятельности русского народа, отражает менявшиеся его занятия и привычки.

Выражение *держат кого-нибудь в черном теле* сейчас всем очень хорошо известно. Оно чаще всего понимается как обозначение строгого обхождения с кем-то, но это значение не было исконным. Да и само выражение в русском литературное употребление вошло сравнительно недавно.

Еще в середине прошлого века его введение в текст сопровождалось особыми оговорками. Например, в повести теперь забытого писателя второй четверти XIX века Сергея Петровича Победоносцева (1816—1850) «Из записок неизвестного» (1843) к выражению *держат в черном теле* добавлена извиняющая оговорка *как говорится*: «Горничных девушек тетенька Клеопатра Павловна держала чрезвычайно строго и, как говорится, в черном теле,— особенно тех, которые были получше и покрасивее». Автор как бы извиняется за употребление непривычного выражения *держала в черном теле*. Одновременно видно, что оно имело совсем другое значение, чем сейчас, поскольку противопоставляется словам *держала чрезвычайно строго*. Выражение *держат в черном теле* тогда имело четкое значение «умеренно питать», относилось к области коневодства и только начинало выходить за пределы специальной терминологии во всеобщее употребление. Это хорошо видно из более раннего письменного памятника по коневодству начала XVIII века под названием «Регула об лошадях как содержать и при том прилежно смотреть надлежит чтоб в добром призрении были». Это произведение подписано известным русским государственным деятелем и дипломатом того времени Артемием Петровичем Волынским (1689—1740). Там мы читаем следующее несколько архаично выраженное указание: «Также смотреть, чтобы холостые кобылы были гораздо в черном теле: понеже которая очень сыта будет, то зело редко такая принять может».



В русской коневодческой терминологии языковеды-историки языка обнаружили немало слов, связанных своим происхождением с тюркскими языками. оборот *держатъ в черном теле* относится также к числу таких тюркизмов. Дело в том, что в тюркских языках цветообозначение *къара* (буквально «черный») может употребляться в значении «чистый, без примеси». Тюркское выражение *къара эт* (дословно «черное мясо») употребляется как наименование нежирного мяса или вырезки, где нет белых жировых прослоек. Первоначальный смысл выражения *держатъ в черном теле* был «питать умеренно, не давать жиреть, чтобы мясо было лишено жировых прослоек, было темным», но потом постепенно возобладал смысл «держатъ в физических лишениях», отзвуки которого слышатся в этом обороте и сейчас. А выражение теперь уже давно вышло за пределы специальной коневодческой терминологии и употребляется довольно широко,

Рисунок Юлии Гуковой

А склянки продолжают бить

О. П. НАУМОВ

В портовом городе каждые полчаса из гавани и с рейда доносятся мелодичные удары в колокол. Рождаясь почти одновременно, они сливаются в короткий перезвон и быстро затухают, точно вахлебаясь, на широкой глади бухты. На кораблях и судах бьют склянки. Живет старая традиция.

Да, теперь это только традиция. И далеко не каждый сегодня сможет ответить на вопрос, что же означает выражение *бить склянки*? А кое-кто, может быть, и ужаснется — зачем это понадобилось морякам каждые полчаса бить какие-то склянки?

Давайте приоткроем завесу времени и заглянем в тот период жизни флота, когда отбивание склянок было насущной необходимостью на корабле.

В старину не существовало точных пружинных хронометров, а громоздкие маятниковые часы ставить на корабль не имело смысла. Единственным надежным механизмом отсчета времени на море долго оставались песочные часы. Да, да, именно те примитивные стеклянные колбочки, соединенные между собой узким горлом, внутри которых помещался мелкий сухой песок. Колбочки вделывались в деревянную клетку и оплетались пенькой. К донышкам прикреплялись петли, за которые часы и подвешивали. Качки они не боялись, даже неистовый шторм не мог заставить их прекратить свою нехитрую работу. Остановить эти часы можно было лишь в одном случае — положив их на бок.

Моряки во многих странах попросту стали называть эти песочные часы так, как называли у них тогда любой стеклянный сосуд. В России поступили так же. В русском парусном флоте появились склянки.

В многовековой практике мореплавания наиболее удобным оказалось деление суток на четырехчасовые промежутки, которые составляли время одной вахты. И сам этот промежуток назывался *вахтой*. Потому-то самой большой склянкой была четырехчасовая, а самыми маленькими — минутная и полуминутная, которые использовались при замере скорости корабля с помощью лага. А по-



лучасовая склянка стала единицей измерения текущего времени на корабле. Поэтому и термин *склянка*, кроме названия песочных часов, еще обозначал и получасовой промежуток времени.

Там, где подвешивались склянки, постоянно находился часовой, который следил за пересыпкой песка из одной колбы в другую. И в тот момент, когда песок пересыпался полностью в нижнюю колбу получасовой склянки, он переворачивал ее и бил в колокол — один короткий резкий удар. Все на корабле знали, что прошло полчаса от очередного четырехчасового промежутка времени. Еще через полчаса следовало два удара. И так далее, пока не становилась пустой и верхняя колба четырехчасовой склянки. В этот момент часовой переворачивал обе склянки и бил в колокол восемь ударов. Следующие за этим полчаса отмечались опять одним ударом.

Четырехчасовую склянку переворачивали в сутки шесть раз, а получасовую — сорок восемь. И сорок восемь раз били в колокол. Эти удары в колокол и стали называть *боем склянок*. Выражение *отбить склянки* (или *бить склянки*) значило показать текущее время.

Моряки в парусном флоте настолько привыкли исчислять время склянками, что на кораблях *никого* уже и не спрашивали: *какой час?*, а спрашивали: *какая склянка?* Например, если было час дня, то говорили: *пробили* или *пробьют две склянки*. А если

время приближалось к половине четвертого, то говорили: *седьмая склянка на исходе*. После пробития семи склянок — *восьмая склянка в начале*. Появление пружинных часов на кораблях привело к переходу в обозначении времени от склянок к часам. Например, говорят: *склянки бьют*, скажем, *двенадцать (часов) или три часа*».

Восхищаясь нехитрым устройством песочных часов, все подмечал в них острый матросский ум и придумал для своей потехи такую шутку-загадку: *Промеж двух плошек, промеж трех сошек, завязло окошко: за окошком валится крошка на крошку, понемножку*. А вот и еще более меткая: *Поставь на ноги — бежит; поставь на голову — бежит; и на стену повесь — бежит; и пусти — бежит; и держи — бежит; а положи — лежит*» (Даль. Матросские досуги).

Часовому у склянок нередко оставляли что-то на хранение и отсюда пошло выражение *сдать под склянки* (или *под склянками*).

Только однажды изменялся общий порядок показания текущего времени. В полдень вместо восьми склянок, а по другим сведениям, после восьми склянок, били рынду, то есть звонили в колокол особым порядком.

Надо сказать, что выражение *бить рынду* принадлежит лишь русскому морскому языку. История его возникновения известна. (см.: Грот Я. Филологические разыскания. Т. 2, СПб., 1885; Успенский Л. Слово о словах). В полдень, разумеется, звонили в колокол в русском флоте и до того, как появилось это выражение. Вахтенный офицер командовал часовому, стоявшему у корабельного колокола, принятую издавна английскую команду: *Ring the bell!* (Звони в колокол!), и матрос выполнял ее.

Со временем эта команда была переделана на русский лад. Слово *ring* было заменено сходным по звучанию устаревшим словом *рында*, а *bell* словом *бей*. Первоначально выражение звучало *рынду бей*. А потом и эти слова переставили местами. Выражение *бей (бить) рынду* было более привычно для русского уха. Оно отмечено в Толковом словаре В. И. Даля.

Били рынду на кораблях и в случаях, не связанных с показанием текущего времени. Например, в момент восхода солнца; по выходе из гавани, если на корабле все обстояло благополучно; в момент надвигающейся опасности. В конце прошлого века бить рынду перестали.

Сегодня на судах и кораблях ведут два учета времени. Основной суточный, двадцатичетырехчасовой. С ним связано ведение всех журналов. И второй — повахтенный, четырехчасовой, с отбиванием каждые полчаса склянок.

Рисунок Леонида Тишкова

Сели... в переполненный автобус

Подобное употребление глагола *сесть* просит объяснить Т. Браткова из Саранска.

Глагол *сесть* в качестве основного имеет значение «принять сидячее положение; занять место сидя». Например: «Степан остановился, *сел* на колоду для рубки дров, ноги еще дрожали...» (Холендро. Слобода).

Вместе с тем это же слово обладает рядом значений, непосредственно не связанных с процессом сидения: «приземлиться», «зайти за горизонт», «осесть» и других (см. 17-томный Словарь современного русского литературного языка). К группе таких значений принадлежит и значение, заинтересовавшее читательницу, — «войдя, расположиться где-либо для поездки» (в автобусе, поезде, трамвае и т. п.). При этом *сесть* не всегда означает, что вошедший в вагон, автобус, трамвай и т. д. будет в нем сидеть. Ср.: «Они *сели* в переполненный омнибус» (Саянов. Небо и земля); «На какой-нибудь Эверест или другую неприступную гору легче было забраться людям, чем этой оди-

покой старушке *сесть* на рейсовый автобус, идущий до Киянова, до большого поселка леспромхоза» (Семенов. Игра в колечко).

Почему в подобном употреблении *сесть* не связан с обозначением действия «сидеть», хотя подобная связь, казалось бы, естественно предполагается его значением?

Дело в том, что слова, обозначающие сложные явления, включающие несколько признаков, в зависимости от конкретных условий общения могут обозначать не все признаки этих явлений, а только один из них, — обычно главный из их совокупности.

Например, глаголы *идти* — «передвигаться, ступая ногами» и *бежать* — «двигаться, быстро перебирая ногами» во фразах типа: *Время идет, Время бежит* не обозначают видовых признаков действия — «ступая ногами» и «быстро перебирая ногами», а глаголы *выиграть, завоевать* в сочетаниях *выиграть забег, дистанцию; завоевать золотую медаль* не обозначают действий «играть» и «воевать».

В таких случаях употреблении в содержании глагола остается главный признак; второстепенные признаки или устраняются совсем, или присутствуют в нем в виде дополнительных оттенков. В рассматриваемом употреблении глагола *сесть* главным является признак «войти», а признак «занять место сидя» (т. е. собственно *сесть*) второстепенен, поэтому или обозначается факультативно, или вовсе не предполагается. Ср.: «— Спокойно, товарищи! — крикнула она. — Все, кто с билетами, *сидут!* А без билетов и лезть нечего. Спокойно, по одному, по одному!»; «Трамвай был переполнен ...Люба была уже рядом с дверью, но чувствовала, что трамвай вот-вот отойдет и *сесть* не удастся» (Убогий. Проводница седьмого вагона).

Сесть в значении «войдя,

расположиться для поездки», в отличие от случаев употребления в его исходном значении, функционально, то есть антонимически, соотносится уже не с глаголом *сидеть* (ср. *Мы сели и сидели*), а с глаголами *выйти, сойти* и другими. Сравните: «*Садилась* люди на этот автобус с передней площадки, а *выходили* с задней» (Семенов. Игра в колечко); «Утром на каждой станции *сходило* и особенно *садилось* множество пассажиров» (Убогий. Проводница седьмого вагона).

Рассмотренное употребление глагола *сесть*, таким образом, не является необычным, оно подчиняется общим закономерностям употребления глаголов и других слов в русской речи.

И. А. Луценко

кандидат филологических наук

Прогностический и прогнозный

Читатель Б. И. Смирнов (Москва) просит рассказать о различии значений в словах *прогностический* и *прогнозный*.

Время образования прилагательных *прогностический* и *прогнозный* различно. *Прогностический* появилось в русском языке в XVIII веке в связи с быстрым развитием медицины в России. Впервые оно зафиксировано в «Новом словотолкователе...» Н. Яновского (СПб.,

1806): «*Прогностический*, греч., реч. мед. Предназначенный; говорится о признаках, предвещающих выздоровление или смерть, и о могущем последовать ожесточении или уменьшении болезни». А прилагательное *прогнозный* стало употребляться во второй половине XX века в связи с широким применением в 50—60-х годах прогнозирования в области научно-технического и со-

циально-экономического развития. Впервые оно зафиксировано в словаре-справочнике «Новые слова и значения» (М., 1971).

Лексические значения указанных прилагательных не тождественны. *Прогностический*, сочетаясь с отвлеченными существительными *возможность, значение, изучение, информация, исследование, метод, наука, оценка, признак* и другими, имеет значение «относящийся к прогнозу и прогностике» (17-томный «Словарь современного русского литературного языка»). При этом следует заметить, что слово *прогностический* с этим значением в настоящее время употребляется не только в медицине, но и в метеорологии, гидрологии, биологии, астрономии, технических, общественных, экономических и других науках, одним словом, там, где применяется сейчас прогнозирование:

«*Прогностическое изучение* болезней выявило с довольно значительной степенью точности болезни безусловно неизлечимые, как, например, лейкозы...» (БМЭ, т. 26, М., 1962); «*Прогностические исследования* в области научно-технического и социально-экономического развития широко проводятся во многих странах мира» (Лисичкин В. А. Теория и практика прогностики. М., 1972); «В советской *прогностической* литературе одним из первых поны-

тался дать классификацию методов научно-технического прогнозирования В. А. Лисичкин» (Прогнозирование в социологических исследованиях. М., 1978); «*Морской прогностической науке* приходится решать сложные проблемы, связанные с взаимоотношениями океана и атмосферы...» (Известия, 1973, 14 сент.); «*По прогностическим данным*, на этот раз первая декада ноября в Ленинградской, Псковской, Новгородской областях будет ненастной и дождливой» (Советская Россия, 1984, 2 ноября).

Прилагательное *прогнозный* имеет следующие значения: «определяемый на основании прогноза, методом прогнозирования»; «составляемый на основании прогноза» (Новые слова и значения). Первое значение реализуется в сочетании с существительным *запасы*.

Второе значение этого слова проявляется в сочетании с отвлеченными существительными, у которых можно уловить общий семантический признак «разработка»: *карта, разработка, сценарий, модель* и другие:

«*Прогнозные карты* (геолог.), геологические карты, отображающие сравнительную перспективность отдельных районов картографируемой территории по возможному распространению площадей новых месторождений полезных ископаемых, составляются обычно в масштабах от 1:200 000 до

1:10 000 на базе металлогенических карт»; «Новый толчок в этом отношении был дан опытом народно-хозяйственного планирования в СССР в 20-х — нач. 30-х гг., т. к. выявилась необходимость предплановых *прогнозных разработок*»; «Наиболее распространено 10—15 обще- и межнаучных методов: экстраполяция., моделирование., опрос экспертов и населения, историческая аналогия, *прогнозные сценарии...*» (БСЭ, т. 21, М., 1975); «*Прогнозные модели синтезируются из прогнозов и располагаются по годам в будущем*» (Лисичкин В. А. Теория и практика прогностики); «Выполняя последовательные расчеты по модели, можно получить *прогнозный вектор...*» (Сб. статей «Модели и методы прогнозирования основных по-

казателей развития народного хозяйства союзной республики», М., 1978).

С этим же значением *прогнозный* выступает в составе сложных прилагательных, например: «Это проявляется в параллельных *прогнозно-плановых, прогнозно-проектных* и т. п. разработках...» (БСЭ, т. 21, М., 1975).

Изучение литературы по прогнозированию и наблюдения за употреблением слова *прогнозный* дают возможность сделать вывод, что оно сразу вошло и закрепилось в языке как самостоятельное слово по отношению к прилагательному *прогностический* со своим определенным значением.

Л. П. Прокопьева
Шадринск

Помощник

«Почему в слове *помощник* пишется буква *щ*, а произносится звук *ш*?» — часто задают такой вопрос студенты.

Действительно, почему? Ведь произносим же мы в подобных фонетических условиях в словах *мощнее, сообщник* и других звук, соответствующий букве *щ*.

Слово *помощник* по происхождению книжно-славянское,

письменное (примета — *щ*, ср. однокоренные слова *мощь, помощь*). Русским разговорным соответствием ему должно было быть *помочник* (показатель — *ч*, ср. народные пословицы с однокоренными словами: *У рака мочь в клешне, у богатого в мощи; Умный сам по себе, а дураку бог на-помочь?*). Оба слова отмечаются в старорусской письменности, например,

в вестях-курантах: *помочники ево Статы Голанские хотели города под себя подвести; галанцы... в том не помощники* (см.: Вести-куранты, 1642—1644, М., 1976); в «Космографии» Яна Ботера: *и осудили живых поджечь Аврама и его помочников.*

Но известно, что сочетание *чн* в устной речи может звучать как *шн*: например, обязательно надо произносить конечно как *конешно*, можно произносить и *сливочный* и *сливошный* [о современном состоянии и истории этого орфографического правила можно прочитать в статье Р. И. Аванесова «Нормы русского литературного произношения в их историческом развитии» («Русская речь», 1981, № 3, с. 42—43)].

Если же мы вновь обратимся к XVII веку, времени, когда живое произношение достаточно активно отражалось на письме, особенно в народно-разговорных источниках, то увидим, что *чн* произносилось как [*шн*] очень широко. В вестях-курантах, первой русской газете (не забудем, что она подвергалась сознательной корректуре, так как читалась царю и боярам), видим: *и з заступы и с телешками рушными; в Востошней Индеи; в таком коротком срошном времени; всяким людем по гранишным местом велено готовым быть и пр.* Подобная картина и в Грамотках, и Московской деловой и бытовой письменности, хотя следует за-

метить, что в памятниках мы видим и *чн* и *шн*, например, в Грамотках: *за мелнишною скудостью, за мелнишним мелевом остановка, но мелничного строения старец; также рушной и ручной, ясашный и ясачный и т. д.*

Памятники фиксируют устную форму слова *помочник* как *помошник*. Например: *яз тебе помошник* (Грамотки); *помошник ми буди ныне на индейскаго Пора* (Александрия, памятник XV века, изданный по списку XVII в.); *«и бедному слуге помошником быть вшеи князькои млсти»* (Вести-куранты).

Значит, у слова *помошник* раньше было три формы: *помощник* — славянская письменная, *помочник* — русская письменная, *помошник* — ее русское устное отражение. Вследствие утраты формы *помочник* и возникло то небольшое фонетическое несоответствие между написанием и произношением.

Но не только в слове *помошник* утратилась форма на *чн*. Например, мы пишем и произносим *шн* там, где когда-то было *чн*, в таких словах, как *гречишный*, в собственных именах *Свешников*, *Столешников*, в слове *двурушник* и др. И наоборот, есть слова, которые, так же, как и *помошник*, имели три формы *щн*, *чн*, *шн* — и при этом все их сохранили, например, *полунощный*, *полуночный*, в произношении *полуношный*.

Есть слова, которые сохранили только форму с чн: *годишный, полномочный*. В памятниках же у этих и подобных встречаются все формы: *в годишном облождении* («Великая и предивная наука» Р. Люллия), *коло годишное* (= круг времени, «Александрия»); *помочныя полкы* (Ипатьевская летопись), *новое*

войско помощное («История четырех монархий» И. Слейдапа); *полунощный — полуночный — полнощный* (Космография); *полномочные послы, полномощной гсдин* (Вести-куранты).

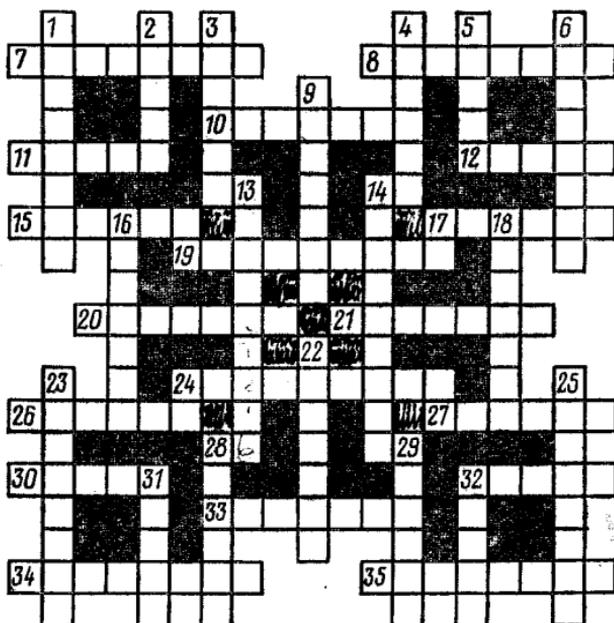
Н. П. Саблина,
Южно-Сахалинск

КРОССВОРД

«А. С. ГРИБОЕДОВ. ГОРЕ ОТ УМА»

По горизонтали: 7. Автор критического этюда «Миллион герзаний». 8. Отдаленное место в помещении, упоминаемое Фамусовым при встрече с Молчалиным. 10. Состояние, в котором находится Софья после падения Молчалина с лошади. 11. Карточная игра, за которой сидели Фамусов с «мамамой» во время детских забав Софьи и Чацкого. 12. Наименование представителя народности, которое использует Репетилов для характеристики одного из своих знакомых. 15. Садовый кустарник, запах цветов которого входил в состав духов, имевшихся у Молчалина. 17. Набор принадлежностей для чего-либо (например: «игольничек и ножинки»). 19. Одна из характеристик предводителя «горячих дюжины голов». 20. «Лгунишка он, картежник, вор» — таково мнение Хлестовой о Загорецком. А как он называет себя в разговоре с Репетиловым? 21. Племянник Максима Петровича. 24. Родная сторона, где приятен Чацкому даже дым. 26. Поэт, упоминаемый Репетиловым в разговоре с Чацким.

27. Неодобрительная характеристика нескладного, медлительного, непонятливого человека (например: швейцара Фильки). 30. Лицо, по вине которого Чацкий задержался в доме Фамусова после того, как разъехались все гости. 32. Французский город, родина одного из фамусовских гостей. 33. Чин, который «дал» Молчалину Фамусов. 34. Незанятая должность. 35. Одно из учебных заведений, упоминаемых Скалозубом, где «будут лишь учить по-нашему, раз, два». По вертикали: 1. Комната в доме Фамусова, в которой происходит первое действие комедии. 2. Духовой инструмент, сравнение с которым использовано Чацким для характеристики Скалозуба. 3. Ласкательное слово, которое употребляет Наталья Дмитриевна, обращаясь к мужу. 4. «Андрей Ильича покойного сынок». 5. Слухи, толки. 6. Знакомец Репетилова, который поет итальянский романс «А, non лашьяр ми, но, но, но». 9. Актер Малого театра, блистательно исполнявший роль Чацкого в 30-е годы XIX века.



13. Обращение, употребленное Фамусовым, когда он говорит о трудностях отцовства. 14. Педагог, который применял систему взаимного обучения: наиболее успевающие ученики помогали учителю обучать отстающих. О ней неодобрительно отзывался Хлестова. 16. Должность, на которую «метил» барон фон-Клоп, будущий тесть Репетилова. 18. Имя автора сочинений: «отрывок, взгляд и нечто». 22. Старинная карточная игра, в которую «пускался» Репетилов со своим будущим тестем и его женой. 23. В старину: иноземец, человек иной веры. К этим людям глуховатая графиня-

бабушка причисляет Чацкого. 25. Переходящий от поколения к поколению рассказ о былом. 28. Редкий, необычный случай (например: встреча Фамусова со своим секретарем у дверей спальни дочери). 29. Состав игроков в какой-либо игре, в частности, в карточной: мосьё Кок, Фома Фомич, Молчалин и Хлестова. 31. Люди, представляемые Фамусовым «к крестинку ли, к местечку». 32. Литературный жанр, на который «налег» бы Загорецкий, будучи назначен цензором.

Составил В. Н. Шендрик

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

«С мягким или твердым «р» следует произносить слово *крем?*»

Н. К. Чижова, Люберцы,
Московской обл.

«Орфоэпический словарь рус-

ского языка» (М., 1983) приводит два варианта литературного произношения этого слова — *крем* (*рэ* и *ре*), то есть возможно произношение как с твердым, так и с мягким согласным перед *е*.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
«А. С. ГРИБОЕДОВ. ГОРЕ ОТ УМА»

По горизонтали: 7. Гончаров.
8. Закоулоч. 10. Обмороч. 11. Пикет.
12. Алеут. 15. Жасмин. 17. Прибор.
19. Разбойник. 20. Либерал. 21. Фамусов. 24. Отечество. 26. Байрон.
27. Тетеря. 30. Кучер. 32. Бордо.

33. Ассессор. 34. Вакансия. 35. Гимназия.
По вертикали: 1. Гостиная.
2. Фагот. 3. Поношь. 4. Чацкий.
5. Молва. 6. Воркулов. 9. Мочалов.
13. Создатель. 14. Ланкастер.
16. Министр. 18. Ипполит. 22. Реверси.
23. Басурман. 25. Предание.
28. Оказия. 29. Партия. 31. Родня.
32. Басня.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Н. С. ВАЛГИНА, И. Ф. ВОЛКОВ, В. П. ВОМПЕРСКИЙ, А. И. ГОРШКОВ,
П. Н. ДЕНИСОВ, И. Г. ДОБРОДОМОВ, Л. П. ЖУКОВСКАЯ, В. В. ИВАНОВ
(главный редактор), Л. М. ЛЕОНОВ, И. Ф. ПРОТЧЕНКО (зам. главного редактора),
Н. А. РЕВЕНСКАЯ (ответственный секретарь),
Л. И. СКВОРЦОВ (зам. главного редактора), Ф. П. СОРОКОЛЕТОВ,
Н. И. ТОЛСТОЙ

Зав. редакцией *Т. С. Колмакова*

Художественный редактор *Е. Н. Сапожникова*

Корректоры *В. В. Беляев, М. Б. Рыбина*

Сдано в набор 14.10.85	Подписано к печати 10.12.85	T-23308
Формат бумаги 84×108 ¹ / ₃₂	Печать высокая.	Усл. печ. л. 8,4
Усл. кр.-отт. 510,2 тыс.	Уч.-изд. л. 9,7	Бум. л. 2,5
	Заказ 1866	Тираж 59 260

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, Волхонка, 18/2. Телефон: 202-65-25
2-я типография изд-ва «Наука». Москва, Г-99, Шубинский пер., 6